18+

Андрей Ветер

СОЧИНИТЕЛЬСТВО СКАЗОК

Андрей Ветер

Сочинительство сказок

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Андрей Ветер, 2023

«Сочинительство сказок» представляет читателю возможность познакомиться с ранними рассказами и повестями Андрея Ветра, в которых хорошо прослеживается вектор поиска молодого писателя. Здесь и юношеские метания, и любовь, и кошмарные сны, переплетающиеся с явью.

18+

ISBN 978-5-4485-8335-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

Сочинительство сказок
Стихи
Время
Письма
Невыносимость
Обман
Следы
Круговерть
Карнавал
Девочка-ангел
Праздник прощания
Про девочек
Сочинительство сказок
1
2
3
4
5
6
7
8

Я далёк от стихов…
Я завяз в полупрозе…

Стихи

Когда-то моя мама любила стихи. Давно любила. Давно собирала их. Может, и не любила, но увлекалась. Это значит, что всё-таки ценила.

Зная это, я подарил ей три тома поэзии. Книги в те годы не ждали покупателя на полках, за книгами надо было охотиться. Они издавались миллионными тиражами, но растворялись в огромном Советском Союзе без следа. Все читали. Книги были самым надёжным развлечением и, как говорили, самым хорошим другом. Поэтому почти не получалось достать их. Книгу брали почитать у знакомых, и нередко отношения между людьми рвались из-за того, что кто-то не вернул книгу. Это называлось «заныкать». Книги были в цене. Не в смысле денег, а в настоящей цене: их уважали.

Долго я бродил вдоль прилавков центрального Дома Книги на Новом Арбате, но там были только книжульки в два десятка страниц. Для подарка они непригодны. И вдруг меня отозвал в сторону какой-то мужичок со шныряющими глазками.

— Чем интересуешься?

— Стихами. Маме на день рождения.

— Пойдём, покажу кое-что.

Он завёл меня под лестницу, огляделся, повернулся спиной к залу и достал из своей сумки три увесистые книги. Поэзия разных лет.

— Глянь. Сгодится?

Я повертел книги. Новенькие. Чистые. Пахнущие типографией.

— Сколько стоит?

Официальная цена каждого тома 2—94.

Мужичок содрал по 10 рублей за каждую — целое состояние для меня, студента.

К сожалению, не помню, удалось ли мне порадовать маму, но знаю, что мне жутко хотелось сделать ей приятно. Она же любила стихи.

Много лет эти книги стояли у неё на полке. Потом она положила их под кровать. В качестве подставки. Под ножки кровати, чтобы кровать приподнялась со стороны головы. Книги продавились, это естественно.

Когда-то она ценила поэзию. Ходила на поэтические вечера, переписывала стихи в тетради. Сейчас не читает, не ценит их. Она состарилась и опустилась. Она ценит только деньги, которых у неё нет. Она думает, что книги ничего не стоят, поэтому не ценит их. Использует их как кирпичи.

Как ни странно, увидев это, я не обиделся. Можно ли обижаться на больного человека? Кроме того, это её книги, я сам подали их ей. Хорошо, что она нашла им применение.

Сегодня многие не покупают бумажных книг, читают электронные. Мне нравятся электронные книги. Они хороши во многих отношениях: не пылятся, не занимают место, их удобно возить с собой в командировку или в отпуск. Но у электронных книг есть один колоссальный недостаток. Их нельзя подсунуть куда-нибудь в качестве кирпичей, на них нельзя сидеть, как на стуле, и ими нельзя растапливать печь.

Время

Последнее время меня подводит время. Да, именно так. Оно будто сорвалось с цепи, ну, вроде той лохматой собаки в соседском дворе, которая сошла с ума и стала бегать вдоль дороги туда-сюда наперегонки с машинами. Время стало другим. Что-то стряслось с ним.

Не в часах дело, не в стрелках, изображающих автоматический циркуль, и не увядающих чертах лица, бесцеремонно вылезающих из зеркала. Дело просто во времени.

Мне кажется, что его не хватает. Из-за этого я читаю по диагонали и всё теряю. Читать надо медленно, со вкусом. Гурманы отличаются умением наслаждаться и не спешить. Для гурманов нет времени. А я был гурманом. Раньше был. Гурманом во всём. Поэтому был счастлив. Я умел наслаждаться. Но сейчас кто-то заменил механизм времени. Внутреннего времени. Оно засуетилось. Оно обезумело. Оно пытается обогнать меня. Поэтому я потерял вкус. Я тоже стал суетиться. Внутри себя суетиться. Пытаюсь обогнать себя, обогнать мои желания, обогнать всё, что попадает мне в руки. Я не рассматриваю, а скольжу взглядом. Рикошет, а не взгляд. Рикошет всюду. Слушаю — не слушая, потому что надо успеть куда-то ещё. Читаю — не читая, потому что

жадность схватить следующую книгу разрушает текст, рубит его, перебрасывает кусками с место на место. Всё стало пресным и бесцветным.

Если бы не время…

Кто-то подменил его во мне. Я боюсь не успеть.

Куда?

Просто не успеть. Всего так много. Раньше тоже было много, но я не боялся не успеть. Я просто был во всём, что делал. Наслаждался. И вот перестал. Побежал. Неправильно это. Неправильный ритм. Испорченный ритм. Испорченное время внутри меня.

Мне хочется танцевать под ночным небом, в плавном покачивании музыки, под убаюкивающим мерцанием звёзд, под тёплыми прикосновениями южного ветра. Но я знаю, что надо успеть что-то ещё. Что именно? Этого не знаю. Я же никуда не тороплюсь, зачем же спешить, зачем же обрывать удовольствие танца? Зачем лишать себя наслаждения?

Я спешу заглянуть дальше, не успев оглядеть то место, где я сейчас. Что-то испортилось во мне. Сломалось. Сместилось, как тектонические плиты. Сместилось и вызвало разрушительное цунами внутри меня. Всё разметалось. Всё превратилось в труху. Всё перевёрнуто. Всё перемешано.

Я спрашиваю про третье блюдо, хотя только притронулся к первому. Я не присутствую. Я убежал вперёд, ничего не ища там. Просто я боюсь не успеть. И не получаю того, что держу в руках. Теряю. Всё теряю. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

Нет большего несчастья, чем сломавшееся внутри меня время. Нет больше пустоты, чем пустота моей суеты.

Хочу наслаждаться поцелуем. Вкусом поцелуя. Атмосферой комнаты, где поцелуй застал меня. Окружающими звуками. Вечностью этого поцелуя.

Хочу наслаждаться книгой. Поцелуем книги. Музыкой книги.

Хочу наслаждаться вином.

Хочу наслаждаться солнцем.

Хочу наслаждаться улицей.

Хочу наслаждаться жизнью.

Хочу найти мастера, который сможет исправить мои

разладившиеся внутренние часы и вернуть меня в русло моего времени, чтобы сейчас было только сейчас…

Письма

Мы писали друг другу письма. Часто и с чувством. Обычные письма на бумаге. Интернета ещё не было, он ещё не сделал нас всемогущими. Мы даже не догадывались о том, как изменится наша жизнь, наши письма, наше общение и мы сами. Изменимся к худшему.

Но в то время мы ещё не испортились. Нас переполняли чистые чувства. Мы признавались, что скучаем. Признавались многословно. При этом вспоминали что-то ещё, отвлекались от признаний, принимались рассказывать про вчерашние события. В письмах мы разговаривали. В письмах мы любили.

Встречаясь, мы разговаривали меньше. Нас пожирала страсть. Изголодавшиеся по желанной наготе, мы отдавались друг другу, теряя счёт времени.

Мы жили в разных городах. Не очень далеко. Три часа лёту. Иногда звонили по телефону. Ждали, соединят или нет. Не знали, застанем ли друг друга, услышим ли, скажем ли что-нибудь. Часто не заставали и тогда бросались к бумаге, чтобы высказаться.

Письма! Конверты! Какое это было удивительное время! Какое волшебное состояние охватывало, когда письмо попадало в руки. Какое предвкушение удовольствия!

Сначала посмотреть на просвет, чтобы увидеть письмо внутри и не порвать его, отрывая краешек конверта. Потом вытащить письмо, сложенное пополам. Несколько страниц. Повертеть их — до конца ли исписаны. И начать впитывать его в себя, дышать им.

Голос… О как я любил голос писем! Я их всегда слышал. Её голос звучал в каждой букве. Каждая строка пела её голосом. Клянусь — я слышал голос.

Наверное, это просто любовь. И чистота. И телепатия, рождённая желанием встретиться, обнять, раствориться друг в друге. И опять расстаться, чтобы отдаться бумаге, заполнить её чувствами. На расстоянии, разделявшем нас, ничто не могло быть важнее писем. Мы сами теряли свою значимость. Письма делались главнее нас. Мы зависели от них. Молились на них. Каждое утро заглядывали в почтовый ящик — пришло, не пришло? «Тебе письмо. Танцуй». Можно ли такое про SMS?

Любовь постепенно уходила, а письма оставались.

Невыносимость

«Превращение музыки в шум — планетарный процесс, которым человечество вступает в историческую фазу тотальной мерзости. Тотальный характер мерзости проявился прежде всего как вездесущность акустической мерзости: машины, мотоциклы, электрогитары, дрели, громкоговорители, сирены. Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует». (Милан Кундера «Невыносимая лёгкость бытия»)

Любопытная точка зрения. С ней можно не соглашаться, но согласие и несогласие не имеют значения, когда речь идёт о литературе. Спор идёт уже не о книге, а о мыслях, прорвавшихся в атмосферу и живущих с тех пор самостоятельно.

Мерзость, о которой сказал Кундера, уже здесь. Она на улице. Она в телевизоре. Она в музеях. Она всюду. Но её нет во мне, и это значит, что она не вездесуща…

Читаю Кундеру с большим интересом. Сначала что-то не пускало меня, будто между мной и книгой стояла стеклянная стена: я видел текст, но не мог войти в него. А ведь в книгу надо войти, только тогда она откроет читателю всё глубоко личное, что поместил в неё писатель. Сколько таких книг приходило ко мне… и не давалось в руки. Они казались мне насмешкой,

издевательством: я хотел их, но они отторгали меня — разве такое возможно? Отторгали моё неспокойствие. Эти книги требуют покоя. Внутреннего покоя. Это их условие. В них можно войти только при условии, если не мешают другие мысли. Даже тень посторонней мысли может уничтожить произведение, оно распадётся на отдельные слова и перестанет жить. Необходимо сделать эту книгу частью себя, и тогда только каждая страница будет открывать читателю правду о нём самом.

«Невыносимая лёгкость бытия» — не обо мне. Меня нет в этом произведении. Моих знакомых тоже нет. И всё-таки я увидел себя. Без малейших усилий увидел то, что живёт во мне. Живёт — как микроб, которому сейчас спит, но который проснётся при определённых обстоятельствах.

Кундера хотел обмануть читателя, втянув его в странную игру, где повествование важно, но не как сюжет, а как цепочка выдуманных знаков. У этих знаков нет ничего, никакого смысла, но человек цепляется за них, придаёт им значение. Но в действительности Кундера пишет совсем не об этом. Его игра не имеет названия, поэтому вводит в заблуждение. Возможно, так и надо поступать — ломать всё привычное. Не вокруг ломать, а в себе. Кундера не принуждает, он лишь рассказывает, и его рассказ может помочь читателю переменить в себе точку восприятия нашей действительности. В освобождении своём увидеть своё предательство и понять, что природа твоя — предательство. И многое другое понять. Кундера раскладывает карты для гадания, но карты открывает не Кундера, а читатель и сам же объясняет их себе.

Мне давно хотелось написать такую книгу, где одна закончившаяся история получает продолжение в чём-то или ком-то другом. И получается, что история не заканчивается. Ничто никогда не заканчивается. И даже закончившееся всё равно каким-то образом продолжается. Так уж всё увязано одно с другим. Так смог сделать Кундера.

С каждой страницей мне труднее оторваться от «Невыносимой лёгкости бытия». Каждая строчка уводит меня дальше и дальше от того меня, которого я знаю, и знакомит меня с тем, о котором я не ведал ничего, но который, быть может, даже больше меня,

известного мне. Хитрец и плут этот Кундера. Я не должен был угодить в его сети, но попался-таки…

Обман

Люблю старые фотографии. Люблю старые газеты. Они пропитаны особым качеством.

Сегодня разглядывал фотографии отца, где он ещё ребёнок. Разглядывал молодую бабушку. До чего ж смешиваются чувства, до чего ж сложный замес ощущений! По сути, я смотрю на чужих людей, но я знаю, кем они доводятся мне. Если бы это были не мой папа и моя бабушка, то вряд ли я ощутил бы что-нибудь близкое к тому, что охватило меня сейчас. Бабушка очень привлекательна (с короткой стрижкой). Я вижу в ней женщину, но какой-то рычаг внутреннего табу не позволяет желать эту женщину. Вот был бы я молод, как она на той фотографии, встретились бы мы где-нибудь на танцах, что бы случилось? Она ведь так хороша! Не удержаться от поцелуя. Но если знать, кто она, то возникает противодействие: рвущаяся вперёд мысль прибивается гвоздём и не может двигаться никуда. То же и с лицом отца. Я вижу в том мальчике будущую историю жизни, мне известен тяжелейший итог его жизни, и нет никакой возможности изменить что-либо. Не поэтому ли его лицо кажется мне особенным? Я испытываю к нему определённые чувства лишь благодаря имеющейся у меня информации. Не обман ли это? Мозг подсказывает нам, что именно надо

чувствовать, как режиссёр подсказывает актёру, какие краски нужно добавить для пущей выразительности образа. Сколько известно в литературе и кино историй о том, как зрелый мужчина вступает в сексуальную связь с девушкой, а позже выясняет, что спал со своей дочерью. И в нём всё меняется, хотя ничто на самом деле не изменилось. Какое коварство восприятия! Шарлатанство!

Фотографии всегда вызывали во мне чувство мистического восторга и будили фантазию. И дело не в том, что фотография — это застывшее время. Скульптура — тоже застывшее мгновение, но у меня, глядя на самое изумительное изваяние, не возникает вопроса: а что было до того и что будет дальше. Фотография же, будучи ограничена рамками, вызывает во мне любопытство. Мне всегда хочется заглянуть за эти рамки, за срез бумаги, ведь фотоаппарат выхватил только кусочек мира, а остальное пространство осталось где-то и продолжает жить, спрятанное от моего взора.

Но это касается лишь чужих фотоснимков. Мои фотографии оставляют меня равнодушными. Зная, как они сделаны и что с ними связано, во мне пробуждаются только воспоминания. А вот чужие…

Там целый мир. Там бесконечность. Там неведомые истории. Там жизнь до фотографии, жизнь после фотографии, жизнь во время фотографии. И мне хочется заглянуть в эти жизни.

Всматриваюсь в лица, в фигуры, в позы, в тени. Они вот-вот шевельнутся, двинутся ко мне, протянут руки, улыбнутся. Или уйдут туда, где фотография заканчивается. И я, конечно, пойду за ними. Пожелтевший снимок начала двадцатого века — это окно в другой мир. И не имеет никакого значения его качество, потому что фотография — только окно. У нас есть возможность заглянуть туда. Войти туда, остаться там. Множество раз можно заглядывать, и каждый раз мы будем видеть разное, потому что материал, из которого сотворён тот мир — наше воображение. Оно создаёт, оно исправляет, оно оставляет навечно и меняет одно вечное на другое вечное.

Иногда стоящие на полке фотографии пробуждают во мне ужас, потому что я чувствую их взгляд. Они смотрят на меня, наблюдают из своего окна. От них невозможно спрятаться, даже повернув фотографию лицом к стене. Отвернув их, я не избавляюсь от их

присутствия. На самом деле они смотрят не на меня, а в моё пространство, где каждая точка содержит в себе целый мир, отражает целый мир, впитывает целый мир. Они смотрят на нас и видят нас лучше, чем мы видим их. Они могут спрятаться, застыть, притвориться несуществующими, притвориться плоскими картонками, оставаясь на самом деле живыми и безграничными, а мы не можем притвориться.

Вступая в контакт с фотографиями, я отдаю им мою душу. Они уводят меня к себе, отрывая меня от себя. Они затягивают, показывая мне то, что не видят другие. Мы становимся соучастниками величайшей тайны, куда не допускаются другие. Мы перешёптываемся, переглядываемся, обмениваемся нашими ощущениями. Кто угодно может, конечно, рассматривать ту же фотографию, но никто никогда не увидит то, что открывается мне, когда я проникаю сквозь плоскую картинку в «зазеркалье».

Бесспорно, фотоснимки являются пойманным мгновением. Но сам я занимался фотографией не для того, чтобы ловить время. Мне нравилось создавать. Фотографируя, я не копировал окружающую действительность, а изменял её. Взять хотя бы ракурс. Для меня это всегда был угол зрения не столько в физическом смысле, сколько проявление внутреннего взгляда на фотографируемый объект. Оптика — это не просто стекло, но кисть, с помощью которой создаётся изображение. Крупность, фактура, свет — всё передаётся оптикой, всё втягивается с её помощью в кадр, и нужно уметь отбросить лишнее во время съёмки, выстроить линии так, чтобы они удовлетворяли затаившееся внутри меня желание. Хорош мой снимок или плох — только я могу ответить на этот вопрос, и не словом ответить, не технически-профессиональным разбором, а откликом моих чувств на готовый отпечаток. Возможно, он не вызовет больше ни у кого ощущений, схожих с моими, возможно, не только не коснётся сердца, но вообще не обратит на себя внимание. Мне важно было увидеть на фотобумаге то, что я хотел увидеть — сотворённый мною уголок мира.

Фотография, как произведение искусства, тем отличается от любой другой фотографии, пусть даже выполненной на высококачественной профессиональной аппаратуре, что автор

вытаскивает себя наружу и присутствует в каждом снимке гораздо больше сам, чем те, кого он запечатлевает. Они, объекты его внимания, становятся его отражением, преломляя его «я» в своих лицах, фигурах, позах, движениях. Художник не умеет просто копировать, он не способен срисовать линию такой, какая она есть в действительности, он видоизменяет её, оставляя лишь некоторую схожесть с оригиналом.

Мой взгляд приковывается к мшистой коряге в лесу, или к морщинистой коже старика в толпе, или к полупрозрачному лицу девчушки и вступает в непонятное общение с ними. Что исходит от людей и предметов, ставшими на несколько мгновений центром моего внимания? Что за сила заставляет меня смотреть на них, буквально прикипая к ним взглядом? Однажды я ехал в автобусе и увидел, как боковой солнечный луч упал на плечо красного пальто. В густых тёмно-коричневых тенях пассажиров это было единственное яркое пятно, но дело было не в цвете и не в свете. В том мгновении соединилось сразу всё: движение автобуса на повороте, когда все тени стремительно перемещаются, ощущение многолюдности и перегруженности пространства, внезапный косой свет и проявившееся будто из небытия красное пальто, которое на самом деле давно маячило перед моими глазами, но никак не обращало на себя внимания. И никакая фотография не передала бы охватившего меня восторга, никакой хроникёр не смог бы воспроизвести увиденное. Только художественное решение может справиться с такой задачей, хотя в данном случае речь могла быть только о кино, а не о фото.

Фотография — это книга без слов, история без текста. Фотография даже больше, чем книга, потому что каждый зритель рождает свою историю.

Следы

Уставшим людям

Больно!

За кошку бездомную, ободранную, мокрую и всеми забытую больно! За друга, жестоко избитого в узком ночном переулочке — больно! За наивных влюблённых, меж которыми вдруг кончились все отношения — больно! И не уйти от этого никуда.

***

Бесконечно-чёрная одежда особенно подчёркивала кладбищенскую белизну лица этой женщины. То было даже не лицо, а бесцветное пятно с бездонными впадинами глаз. Невидимая фигура смерти, укутанная в холодную шаль расставаний, стояла рядом, опустив ладонь на плечо женщины.

Между раскинутыми руками могильных крестов мерцал утренний туман. Женщина бессильно свесила голову, и такой одинокой казалась её тёмная фигура в равнодушной тишине.

О, смерть! Непреодолимая стена! Сколько можно биться лбом о твою сырую поверхность? Сколько можно надрываться криком,

наклоняясь над пастью твоей бездны?

— Может быть, тебя вовсе не было? — тихо спросила женщина, продолжая какой-то разговор. — Ведь не мог ты быть, а потом перестать быть. Того только нет на свете, что и раньше не существовало. А то, что было, то и сейчас должно быть. И если ты жил, ты должен жить и теперь. Где же ты? Почему ты молчишь? Ведь я чувствую это твоё странное присутствие…

Она подняла руку и тронула пальцами свой бледный лоб. Синие прожилки обозначились под кожей от напряжения. Холодное дыхание тумана влажно скользнуло по её ногам, облитым чёрными чулками. Серый от сна ветерок лениво шевельнул длинную юбку, и мягкие складки чернильными волнами омыли чью-то невидимую щёку.

— Я знаю, ты здесь. Но ты молчишь. Почему вы все молчите, покинув этот мир? Или вам нельзя говорить с нами? — Она опустила усталую руку. Бархатный взгляд её остановился на свежем холмике земли. Что-то слышалось, но различить это что-то у женщины не получалось. Далёкий голос Тайны, который есть у каждого человека, едва уловимо полз между мутных капель тумана… Голос тайны… Разгадаешь эту тайну — человек станет с тобою единым целым, частью твоей, а ты — его. Может быть, ты разгадаешь то, что он сам не знает. Но это — пока жив человек… Когда же дверь бытия за ним закрывается, его тайны безвозвратно уходят с ним.

— Почему вы позволили себе умереть? Почему бросили нас? Неужели наша любовь к вам ничего не стоит?

И тут ей почудилось, что чей-то голос отчётливо произнёс слово «нет». Она не столько услышала слово, сколько почувствовала его в себе.

— Нет? Наша любовь — ничто?

И вновь ощутила в себе отзвук собственных слов — так слышится переливчатый звон колоколов, доносящийся из-за голубоватого лесного массива на горизонте — далёкий, едва уловимый, но тем не менее безошибочно угадывающийся. Ей показалось, что окружавший её туман начал впитываться в неё, и невидимые люди неторопливо стали проникать в её тело, выходя из невесомых капель тумана, их голоса что-то пели ей в самые

глаза. Они пели о том, что любовь к человеку опустошает мир. Опустошает… Неужели? Разве это возможно?… Пока любви нет, жизнь струится безмятежно в своём русле, журчит, беззаботно напевает. Но приходит любовь, и всё закипает. Брызги, пена, шум бушующих чувств, пожирающий огонь. Всё наполняется безумной радостью и добротой. Всё наполняется движением, устремлением, нетерпением. Но ураган любви уходит, и тогда мир окунается в серый поток невзрачной прозы. Любовь уносит с собой поэзию и разбивает радугу над головой. Осколки падают вниз и ранят сердце… Маленькая любовь с громким истеричным голосом, маленькая уходящая любовь — ничто.

— Ничто. Но где же вы были раньше? Что же вы тогда при жизни сами любили такой любовью? Зачем рыдали от счастья? Зачем вены с горя вскрывали?.. — Она вдруг закрыла рот рукой. Глубокий бархатный взгляд её застыл. — И я… Неужели и я тоже заговорю, как вы? И я в соединении с Вечным узнаю и пойму всё?

Туман ласково погладил её по лицу. Чьи-то тёплые глаза улыбнулись ей.

— А как же сейчас? Почему не сейчас? Зачем тогда всё, если только за порогом я узнаю настоящее? Или… здесь тоже можно? Неужели мне придётся всякий раз возвращаться сюда, чтобы в конце концов понять полноту жизни и пользоваться ею здесь… Так ли? Неужели мне нужен этот необъяснимый человеческими понятиями кошмар?… Но ведь я знаю твёрдо, что есть этому объяснение…

Она ждала.

Туман отступал. Туман не хотел вступать в разговор.

***

Он опустился на землю, тяжело прислонившись спиной к мокрому стволу дерева, и только теперь почувствовал, как сильно устало тело. Оно было заполнено жидким железом, которое болезненно переливалось из мышцы в мышцу, заставляло сжиматься и не двигаться. Он положил надоевший автомат на колени. Деревянные пальцы не смогли выпустить оружие.

— О-о-о… — раздражённо протянул он и с усилием разжал

стиснутые пальцы, покрытые холодной грязью.

Рядом сидели такие же люди. С такими же онемевшими руками. С такими же усталыми лицами. В той же грязи. У одного из-под мокрых волос текла тёмная струйка крови.

Он закрыл глаза. Травинка, прилипшая к губе, попала в оскалившийся рот. Он сплюнул, не открывая глаз.

— Как они там без нас? — вдруг спросил он.

— Кто?

— Дети, жёны…

Чей-то голос невнятно промычал ему что-то в ответ.

— Ведь если они не дождутся нас, мы виноваты будем в том, что они останутся одни. Только мы, никто другой…

— Лично я в эту дыру не напрашивался, — ответил чей-то голос справа, — нас сюда послали.

— Послали… Но устоять, выжить обязаны именно мы, а не эти золотопогонные рожи, загнавшие нас в кровавое дерьмо…

Кто-то надрывно закашлялся.

— Да ты что? Что орёшь?

— Кашляет человек, а не орёт, не видишь разве…

— Всё равно орёт! Мы тут все орём! Услышат ведь! И так затравили, говнюки, загнали, обложили со всех сторон…

Внезапная пулемётная очередь со стоном взбила комья земли и оторвала от дерева пару крупных щепок. Чёрные брызги ударили по лицу. К пулемёту присоединилась трескотня автоматов.

Он вжался в землю, ощутив всю тяжесть напрягшегося тела. Глаза успели скользнуть по чьим-то разодранным башмакам. Перед самым лицом шмякнулось, вжикнуло. Маленький камешек разлетелся под пулей. Над ухом просвистело.

Он с трудом нагнулся, чувствуя тянущую боль в спине, попытался ухватить откатившийся автомат и увидел длинный лоскут окровавленной кожи, оторвавшийся от кисти до локтя, где из-под заскорузлого завёрнутого рукава торчал клочок грязного бинта на вчерашней ране. Он поднёс руку к губам, лизнул след, оставленный пулей, и откусил мокрую полоску кожи.

— Ну, собаки, уделали! — прошептал он.

Справа, словно ворох пустой одежды под сильным потоком воды, скрючивалось от бесконечной пулемётной очереди безликое

солдатское тело.

Он пошевелил пальцами.

— Ну вот… Начинаем игру…

Прищурившись, он нажал на спусковой крючок. Он не видел тех, в кого стрелял. Но он знал место, откуда рыгала свинцовая смерть. Он видел трусливо содрогавшиеся от выстрелов листья мокрого кустарника, видел пороховое дыхание автоматов.

— Вот она, Сказка Сказок, — бормотал он, — вот он, пучеглазый зелёный дракон, плюющий огнём. Вот он, Ад, со всеми его сковородками, с жареным мясом, с кровавыми подливами…

Воздух превратился в кашу, бурлящую болотной жижей и порохом. Грохот выстрелов слился воедино, стал огромным чёрным куском, колошматившим по телу, по ушам, по нервам.

— Интересно, — вдруг юркнула мысль, — зачем всё это? Испытание? Во имя чего? Зачем оно мне, если я погибну? Зачем оно мне, если выживу?

Он торопливо сплюнул попавшую в рот землю, отёр лицо левой рукой, зашипел змеёй и нажал на спусковой крючок. Какое-то время он громко хрипел, словно подпевая оружию, но неожиданно замолк, почувствовав, что магазин автомата давно пуст.

***

И ведь так всегда: всегда есть кто-то, кому в данный момент плохо, всегда есть кто-то, о ком мы не знаем и чьих криков о помощи не слышим. Но всегда мы слышим себя.

Что же это за любовь такая, если она окутывает нас завесой сладкого забытья? Если уши затыкает и делает чужую боль неслышной. Или так положено? Может быть, такова природа любви — упиваться наслаждением собственных чувств? Может, таково её свойство — обводить стороной, вести через цветущий сад, а не через трущобы? Может, на то и дается эта любовь, чтобы показать всю прелесть жизни, а потом вдруг бросить, уйти, покинуть, столкнуть лицом к лицу с невыразимой болью человеческой? Может, это хитрый ход, направленный на то, чтобы заставить человека эту боль лечить?

Как больно! Как больно выходить из уютной колыбели детства!

Как больно, когда ласковые пальцы любви перестают тебя гладить! Как больно смотреть на поле страданий! И не уйти от этого никуда…

***

Он мог только сидеть, так как яма была неглубока и накрыта сверху деревянной решёткой. Он старался найти опору спиной, но стена скользила, уплывала куда-то в сторону, зыбко разъезжалась грязью. Связанные за спиною руки уже давно перестали чувствовать, но плечи болели, даже не болели, а кричали, и от невозможности избавиться от их крика он плакал. Рядом, наполовину залитый чёрной густой водой, лежал второй, но он его не знал. У этого второго не было лица, оно потонуло в грязи, было только ухо и грязный лысеющий затылок. Вероятно, этот второй уже умер, потому что давно не шевелился, не дышал, не реагировал на надоедливые капли дождя, которые громко барабанили по одеревеневшим складкам униформы.

Зачем эта яма? Зачем сюда бросают людей? Зачем их берут в плен? Он опять попытался сесть поудобнее.

— Выжил… выжил… выжил…

Он бубнил это слово с того момента, как увидел себя в яме. Сначала он попробовал подняться в полный рост, но ударился головой о решётку. Он пробовал звать на помощь, но никто не откликался. И слово «выжил» вдруг стало проклятьем, пыткой. Жизнь оказалась в сотни раз хуже смерти. Это был какой-то жестокий страшный урок: ты хотел жить, ты так цеплялся за жизнь, ты так боялся умереть, а теперь подавись своей жизнью, жри её до тех пор, пока она не опротивеет, пока не взмолишься о смерти! Знай, что такое смерть. Смерть есть, пока есть жизнь. Смерть страшна, только пока цепляешься за свою шкуру!

Он закричал, завыл, приподнялся на ноги, но рухнул, соскользнул по жидкой земле на спину, ткнувшись плечом в мёртвого соседа. Ему расхотелось шевелиться. Дождь бил в нос, затекал в ноздри. Он слегка повернул голову и увидел перед собой ухо покойника. Странная восковая фигурка, похожая на причудливую морскую раковину. В двух местах разбита и склеена запёкшейся кровью. Слизистый кусочек кожи иногда

шевелился на самом кончике уха, дёргавшийся под каплями дождя, оторванный, чужой.

Наверху, высоко-высоко над решёткой, несколько раз поперхнулся громовыми раскатами небосвод.

***

Всё это уже было когда-то. Всё это уже пережито не раз. Рождающиеся воспоминания чувств подсказывают, что это не ново: страх, жажда, усталость, попытка отмахнуться.

Опять иду по кругу, по тому же заколдованному кругу, натыкаюсь на собственные следы, но опять и опять принимаю их за чужие. Что-то шевелится в душе, что-то готово вот-вот распуститься лепестками понимания, что-то знакомое, но ещё не узнанное. И опять бреду по кругу, устало шаркаю стёртыми подошвами сандалий, сбрасываю горячие капли пота с глаз. Сколько ходить ещё вот так? Сколько сжимать в руке щит и копьё? Сколько можно смотреть на распятые тела вдоль дороги?

Всё это уже было однажды… Вонючие рыжие быки с кольцами в сопливых ноздрях уже рвали меня пополам. Окружающая толпа радостно пялилась на казнь, щёлкая хлыстами, хлопая в ладоши, бряцая костяными ожерельями и напевая песню священного праздника… Всё это было! Было! Было! Зачем же опять? Почему снова смерть и животный страх перед ней? Я уже однажды кричал, в ужасе брызжа слюной, когда в ладони мои вбивали толстые гвозди, и тело больно провисало на поднятом кресте. Зачем же опять?.. Я уже видел толпу линчевателей, когда они долбили меня, отупевшего от боли, прикладами винтовок, а потом затягивали верёвку на моей шее. Зачем же опять?..

Зачем эта яма с покойником?

***

Она выбежала из волн и встряхнула головой.

— Почему ты не купаешься?

Он слегка отвернулся, чтобы скрыться от брызг с её головы, но не двинулся с места.

— Я не хочу. Не люблю купаться. Я люблю просто сидеть и слушать море, — он с улыбкой смотрел, как она ложилась на горячий песок и вытягивалась тонким телом под солнцем. Красивое тело. Красивая кожа. Красивый блеск солнца на загорелой женской коже.

— Странный ты какой-то. На море надо купаться, а не сидеть на берегу.

— Я не люблю.

— Разве можно не любить морскую воду? — не поверила она, нежно поглаживая песок мокрой рукой. — Ты только посмотри, как чудесны перекаты волн, какие они синие и прозрачные.

Он с удовольствием посмотрел на морские волны, затем с не меньшим удовольствием вернул взгляд к женскому телу. Лёгкая ткань купальника жадно облепила возбуждённые молодые груди. На загорелом животе подрагивали крупные капли воды.

— Да, море чудесно, однако во мне с детства живёт неприятное чувство, что в волнах скрыта опасность. — Он лёг рядом с ней и положил руку на её мокрый живот. В его душе на самом деле ютилось необъяснимое чувство страха перед мутными тенями, притаившимися в глубине моря. Далёкая память предков предупреждала о чём-то.

— Глупости! — женщина звонко шлёпнула его мокрой ладошкой по спине и залилась смехом. Она слегка выгнулась и ловким движением поправила впившуюся в бёдра резинку тесных бикини, на долю секунды показав тёмные волосы на лобке. — Глупости! Ты просто не умеешь радоваться!

— Чему радоваться?

— Всему, милый! Всему! Жизни! — Она придвинулась к нему, и её глаза сделались огромными.

— Может, ты и права, — ответил он, — может быть… Но разве можно научиться радоваться?

***

Это всё память. Эхо гулких подвалов. Непроглядные закоулки неосвещённых коридоров. Подозрительный шёпот неизвестного пространства. Знакомый звук собачьего рычания. Притягательная

сила женского дыхания. Шум безбрежного леса. Завывание ветра в плохо притворённой двери.

Память…

Но чья память? О чём?

Не у кого спросить. Отголоски прошлого слышны не всем.

Терзающие ощущения в теле уходящего времени живут отдельно от человеческого разума и не поддаются логике человеческой мысли.

***

Он поднял голову. Неужели проклятая яма ему пригрезилась?

Хлопая порывами ветра, вздувалась брезентовая стена палатки. Слышался негромкий говор. Приподняв голову, он увидел себя на столе. Правая рука вздулась жёлто-зелёным пузырём и неправильно вывернулась.

— Выжил, — прошептали его слипшиеся губы, и он понял, что яма не приснилась. Вспомнилось, как сквозь ватную пелену предсмертного равнодушия он видел людей, вытаскивавших его из жидкой глубины, видел их пальцы, раздвигавшие ему веки. — Выжил…

Он лежал неподвижно.

Но зачем всё начинается сначала? Зачем вновь подкрадывается к нему трусливое тело, которому так не хочется становиться мёртвым куском мяса? Зачем выволакивают его из уютного бесчувственного тумана на свет, где так больно глазам и где нестерпимо кипят рваные раны? Откуда в людях столько чёрствого исполнительского долга?

— Ничего, солдат! Всем больно, когда болит. Ты терпи! — услышал он голос врача, когда от неожиданно вернувшихся чувств он закричал — санитары распарывали на нём грязную одежду, влипшую в гнойные места…

Всем больно! Но это до смерти, это пока жив! А он уже умер! Умер! Хватит! Смерть уже приходила к нему, она уже освободила его от страданий! Хватит! Кто дал этим белым халатам право лишать его смерти? Кто позволил им вернуть ему мучения?

Он взвыл.

Холодно звякнули в металлической посудине равнодушные окровавленные инструменты.

***

— И там действительно идёт война?

— Настоящая.

— Отсюда, когда смотришь бомбёжки и перестрелки через экран телевизора, всё кажется каким-то неправдоподобным… Такое ощущение, что крутят кино, а не репортажи с места событий, и мы видим статистов и актёров… Скажи, неужели тебе на самом деле приходилось убивать? — Товарищ вперил в него глаза из-за затемнённых очков; через коричневые стёкла просачивалось осуждение. — Тебе приходилось стрелять в людей? Что ты чувствовал при этом?

— Усталость.

— Усталость?

— Не от стрельбы… Усталость от всего, что было вокруг. А когда стрелял… Ты можешь не поверить, но мне легче делалось. Это вроде истерики. Не понимаешь? Ну, прокричишься, когда тебя гложет что-то, и становится легче. Разве у тебя такого не было?

— Странно. Может, ты не понимал, что от твоих пуль гибли люди? А если понимал, то неужели ты не мог отказаться убивать? Никто из вас ни разу не отказался?

— Приказ есть приказ.

— Это лишь оправдание.

— Я там не на курорте был, старик. Там все стреляют. Мужчина с оружием в руках не может не стрелять. Только ты зря думаешь, что от такой стрельбы кто-то получает удовольствие.

— Неужто, — приятель скривил рот, — неужто ты не чувствуешь вины? Ни вот хотя бы столечко?

— Нет. — Он взял стакан со стола и услышал, как нежно стукнулись кусочки льда друг о друга. Это был нежный звук из детской сказки. Трудно было поверить, что где-то продолжалась война. В стакане со льдом таится невероятная ложь для тех, кто не знает истины…

— Ну а если бы ты убил меня или кого-то из твоих близких? —

не успокаивался друг.

— Во-первых, это вопрос из категории подлых. Во-вторых, я бы не знал об этом. Я ни разу не видел тех, кого убивал. Там нет лиц. Там есть фигуры врагов, контуры людей, но не люди. Там есть стволы автоматов, направленные в тебя, а лицо человека позади этого автомата тебя не интересует. Я воевал, а не расстреливал! — Он отхлебнул и ощутил обжигающее прикосновение холодного рома. — Я никогда не расстреливал. И меня убивали…

— Но это никому не даёт права! — друг негодующе сверкнул глазами, и негодование было видно даже сквозь тёмные стекла очков.

— Ты так думаешь? Ты до омерзения наивен. Ты же ничего не знаешь. Чего же ты хочешь от меня? Я досыта наглотался страха и ненависти. Я — калека. У меня крепкие руки и ноги, но я калека… Я лишён возможности вести нормальную жизнь. Ты не догадываешься, насколько трудно быть калекой… Ты называешь меня убийцей. Скажи мне, откуда в тебе эта ненависть ко мне и к таким как я? Я не сделал тебе ничего плохого, я не обидел ни тебя, ни твоих близких… Или ты просто хочешь пофилософствовать? Тебе нравится рассуждать о том, чего тебе не удалось испытать на собственной шкуре? Похоже, тебя привлекает именно это. Давай же, приступай. Только не повторяй одно и то же — убивал, убивал… На войне не убивают. Убивают в подворотне, а на войне воюют. И это уже не просто чья-то смерть, но целый комплекс, целый узел подлых, гадких, непоправимых поступков. И мы — перебегающие из окопа в окоп — просто ничтожные оловянные солдатики в большой игре больших мерзавцев. Мы не знаем сути этой игры. Но даже если бы знали, не смогли бы изменить ничего. Мы все — рабы государственной машины. И ты, просиживающий штаны в кабинете государственного департамента, ты тоже раб государственной машины… Одни почище, другие погрязнее, одни покрасивее, другие пострашнее, одни поумнее, другие поглупее. Кому-то предоставляется возможность выбрать оружие, а кому-то — нет. Вот и вся разница между нами… А что до войны, — он поднял стакан на уровень глаз и поболтал им, вслушиваясь в тонкий перезвон ледышек, — то пусть ты никогда не познаешь её на собственной

шкуре. После войны не остаётся ничего. После неё начинаешь видеть только войну, всюду войну… А может, и впрямь жизнь — это война?.. Только война?..

Приятель моргнул, но не придумал, как продолжить разговор. Да и разговор ли это? Всплеск вечности, всплеск её скрученных в кольцо ошибок. Нет, не разговор. Просто взгляд упирается во взгляд, слово штыком бьётся о слово, непонимание отмахивается от понимания.

***

— Шумная плоть в заботах страстей, сплошной маскарад безымянных людей. — Она закрыла книгу и посидела молча. Потом повернулась лицом к тёмному углу комнаты, где лежал на диване муж. — Странные слова, правда?

— Угу.

— Ты спишь? — она сощурила глаза, но не разглядела его лица.

— А что такое? — он шевельнулся неясной тенью.

— Ничего. Просто я хотела поговорить.

— Поговори. Разве я мешаю?

Она вздохнула и повернулась к окну. За окном темнела синева, иногда проносились бледные сполохи надвигавшейся грозы, и тогда на потолке на несколько мгновений появлялись причудливые тени ажурной уличной листвы.

— Ты стал вести себя так, будто не замечаешь меня, — с горечью произнесла она.

— Неправда, я замечаю тебя.

— Тогда почему всё стало по-другому? Почему сегодня не похоже на вчера? Почему ты ведёшь себя не так, как прежде?

— Всё меняется, дорогая. Всё постоянно меняется. Что-то внутри нас умирает, на смену ему приходит другое. Разве это плохо?

***

— Ведь я люблю его! — плакала она, уткнувшись в плечо сестры. — Неужели он не понимает этого? Я люблю его, а он

постоянно унижает меня, оскорбляет, издевается. И мне кажется, что делает он это не случайно, что это доставляет ему удовольствие. Он стал совершенно другой. Ничего от доброты, ни следа от былого радушия… Неужели пули всё вышибли из него? Он стал злой… «Если тебе что-то надо, дорогая, ты только скажи, я всё сделаю!» А в глазах — холод, лёд. Он стал ужасным. Почти мёртвым…

— Как же ты тогда любишь его?

— Ну я же не за это люблю! — она шмыгнула носом. — Я же совсем за другое.

— Ладно. За другое любишь, а за это что делаешь?

— Ничего…

— Так не бывает. Раз за что-то любишь, стало быть, за что-то другое не любишь. Будь честна перед собой. Чего в тебе больше?

— Ну… — она растерянно посмотрела на сестру, — не знаю. Просто я не могу принять его *такого*. Но и уйти от него не могу. Может быть, жалею. Не знаю.

— Ему не нужна твоя жалость, сестрёнка. Плевать он на неё хотел, а ты жалеешь его, хоть сама и признаёшься себе. Он зверем стал, и жалость ему не нужна. Жалость — та же слабость для него. А он слабость зубами рвёт. Потому-то тебе и кажется, что он издевается над тобой.

— Не может быть! Неужели…

— Вот тебе и «неужели»! — сестра отвела красивой рукой прядь волос с лица. — Ещё до отправки на войну он сказал однажды, что верит в человека, но не доверяет человеку. Это было давно, ты, наверное, забыла это, но я помню. Я ведь тоже была влюблена в него, поэтому многое в память врезалось. А что же он должен сказать теперь, когда с лихвой наглотался грязи и крови? Теперь-то вообще никакой веры ни во что не осталось в нём…

— Знаешь, он теперь даже любовью не занимается. То есть он занимается, но злобно как-то. Это не любовь. Теперь это просто секс. Всё у него как-то по-звериному теперь, жёстко, будто он насилует меня и в моём лице всю жизнь вообще…

Они замолчали и остались сидеть рядом, глядя друг другу в глаза, две сестры, две молодые женщины, два человека.

***

— Всё-таки я чего-то не понял, — сказал он, положив руку на плечо товарища.

Они остановились на мосту. Внизу лениво ползла свинцовая лента реки.

— Что-то скрыто от меня. Я прошёл через всё, что мне представляется возможным для людей, но так и не научился любить. Я не умею давать счастья людям, я причиняю только боль, как плохой врач. Я приспособился к какому-то ритму и не выхожу из него. Я презираю людей, презираю себя, но что с того? Какой смысл в моём презрении? Других презираю за то, что не испытали они моей участи, но смеют судить о моей жизни. Себя — за то, что ничего не вынес из такого опыта! Мне кажется, что я опустился ещё ниже. Я только терял, но ничего не приобретал. Печальный опыт. — Он взглянул вниз с моста и указал рукой на грязную городскую реку. — Вот и мы такие же. Тащимся еле-еле, как поток воды, а зачем и куда? Не знаем. Навернуться бы отсюда и прекратить всё разом, а? Может, человек получает понимание, когда сам решает уйти из жизни? Может быть, когда человек перестаёт бояться смерти, к нему приходит истина?

— Боюсь, что истина дожидается тебя на больничной койке. И если ты рискнёшь поставить точку, то врачи запеленают тебя в усмирительную рубашку, а жить заставят-таки…

— Но это уже было! Уже заставили, — вдруг сказал он, — это уже было!

Он взволнованно обернулся, как бы ища кого-то. Налетевший порыв ветра всколыхнул его волосы и воротник лёгкого плащика.

— Это уже было…

Он ощутил, как на него накатила волна знакомых чувств, знакомой дороги, знакомых следов. Волна ударилась о него, разбилась, снова собралась в вал и понеслась дальше. Он повернулся и посмотрел ей вслед.

— Господи! Ведь всё уже было! Зачем же снова и снова? Нужно совсем иначе!

— Ты о чём? — удивлённо смотрел на него друг.

— Да обо всём! — он засмеялся, схватившись за голову. Ветер дунул с новой силой. Пролетело несколько листиков. — Ведь это

круг! Круг! А мы думаем, что это прямая дорога от рождения и до смерти! Тот же опыт, один и тот же, чужой ли, свой ли! Надо только посмотреть! Надо только понять! А мы, идиоты, ищем, ищем…

Он вновь громко засмеялся. И вдруг неожиданно вскочил на перила, прыгнул и полетел. Приятель вскрикнул, неловко протянул руку, стараясь схватить фигуру в плаще, но отшатнулся, увидев серую массу воды внизу. А человек в плаще летел вперёд и вверх…

Вперёд и вверх… Вперёд и вверх… Оставляя всё позади…

Круговерть

В надежде на присутствие счастья

Всё вокруг оплетено обманом. Сплошная ложь. Враньё. Вывернутые кишками наружу слова. Разве похожи они — сопливые, пьяные, истеричные, позабывшие собственное значение — на звуки моего детства?

Ма-ма. Па-па. Какие фарфоровые колокольчики исполнят более чистую песню? Где отыскать слова, которые в простоте и лёгкости своей смогут быть весомее?.. Ма-ма… Па-па… И разве сумеет хриплый оратор прокричать с трибуны что-нибудь новое и важное? Он способен только швырять в гудящую массу людей старые полинявшие иконы и напористо выкрикивать имена новых божеств, за спинами которых беснуется прежняя лживая мутность. И размахивает оратор длиннющими руками, желая сгрести в охапку толпящихся перед ним людей, чтобы смешать их с собственными идеями и вылепить из них что-то новое; оратор отрыгивает комочки слов, оплетённые паутиной обмана; отрыгивает и швыряет их людям в глаза. А те подхватывают их, обсасывают, смакуют, волнуются, нервно дрожат, напирают друг на друга… Кишит площадь, словно наполненное червями ведро. Люди слушают

и уходят, бредут по улицам, проходят по незнакомым переулкам, вытаптывают газоны в скверах своего детства, задевают встречных и идут, идут, идут, пронизанные услышанными речами, опьянённые ими, одурманенные…

На одной из людных площадей стоял под огромным циферблатом городских часов человек и покуривал сигарету. Курить он не любил, но временами не мог избавиться от порыва желания ощутить во рту вкус сигаретного фильтра. Впрочем, это, конечно же, глупость. На самом деле ему хотелось, чтобы его славная Наташа внезапно появилась из-за спины, выдернула сигарету у него изо рта и наставительно (как мать) поведала в очередной раз о вреде никотина. Ему нравилась её заботливость, её нежная обеспокоенность.

Он любил эту женщину, её короткие волосы, девчачьи глаза с шаловливым огоньком, крупные белые зубы, которые приятно было ощущать при поцелуе, и легкую спортивную фигурку, похожую на мальчишечью. В ней невозможно было отыскать ничего от Самки, хотя он самозабвенно придавался любовным играм с этой полуженщиной-полуребёнком. И не казалась она королевой, перед недосягаемой красотой которой хочется упасть на землю и рвать на себе волосы от сознания собственного уродства. И не Богиня она, к которой не смеешь прикоснуться, а лишь смотришь на её светящееся лицо с огромного расстояния, пытаясь уловить неземной взгляд и от него глотнуть теплоты, радости. Она была просто Женщиной, не попадавшей ни под какие категории. Любимой Женщиной. Счастливой Женщиной.

— Здравствуй, Серёженька, — чмокнула она его в губы, и он окунулся в пучину её удивительных нежных запахов. Всякий раз в подобные мгновения он с удивлением замечал, что сердце его становилось похожим на кусочек льда, подставленный под жаркие солнечные лучи. Его важный широкоплечий пиджак строгого серого цвета вдруг начинал сваливаться с него, и вместо Сергея появлялся тоненький мальчишечка лет пяти-шести. Окружающий мир разрастался вширь и вверх, делая стволы хилых берёзок толстенными брёвнами, вытягивая девятиэтажные дома под самые облака, раздувая невзрачных прохожих в значительные фигуры, придавая им значимость.

— Мама, — говорил он и тянул руку, покрытую цыпками, к Наташе. Она брала её в свою мягкую ладонь и вела его за собой, и Серёже казалось, что они вдвоём очень похожи на рыжую кобылу с белой звёздочкой на морде и её кривоногого жеребёнка, которых он видел летом в деревне. Он шёл, торопливо перебирая ногами с разбитыми коленями, иногда подпрыгивал, чтобы легче поспевать за мамой, и тогда пряжки незастёгнутых ремешков на сандалиях позвякивали. Наташа то и дело оборачивалась, встряхивала стриженой головой и улыбалась ему, и он от радости принимался грызть ногти на свободной руке и смеяться, потому что у него была самая лучшая мама на свете, красивая, тёплая, добрая и почему-то очень похожая на деревенскую рыжую кобылу с большими нежными и влажными ноздрями. Он видел снизу, как солнце бежало над ними, мелькало ослепительным пятном в тёмных высоких листьях берёз, теребило золотым ветерком короткие волосы на мамином затылке, и ему приходилось очень по душе такое солнце. Ещё Серёже нравился стук каблучков и лёгкая просторная юбка, которая трепыхалась при ходьбе и была очень похожа на снежный вихрь из мультипликации.

— Сергей! Что ты в самом деле? — оборачивалась к нему мама, когда он слишком сильно начинал раскачивать рукой, которая лежала в маминой ладони.

— Сергей Павлович, что-то ты себя шаловливо ведёшь, — Наташа обнимала его и, изящно изогнувшись, подставляла ему рот для поцелуя.

Краем глаза Сергей видел прохожих. Пухлые бульдожьи лица, заплывшие пуговки глаз, каракулевые воротнички, шуршащие чулки, жирные напомаженные губы, запах вина, одеколона, зубной пасты и пота. Всё плыло мимо, крутило зрачками глаз, разглядывало, осуждало, завидовало, обходило стороной. Сергей Павлович брал ладошку своей возлюбленной обеими руками, крепко сжимал и чувствовал, как под его пиджаком распрямлялось энергичное тело льва. В мышцах клокотала энергия, жарко пульсировала, жаждала выхода. И он неожиданно срывался с места, увлекал за собой Наташу и с громким смехом тащил её сквозь толпу.

— Поберегись! — кричал он, и люди шарахались в стороны. Многие из них только что созерцали эту неподвижную парочку

в поцелуе и никогда бы не поверили, что разомлевшие тела способны через мгновение после томных объятий ураганом пронестись сквозь толпу.

А Сергей мчался с Наташей, летел, бежал, расталкивал, сшибал с ног, хохотал, не обращая внимания на недоумевающие лица, на погоду, на время, на обстоятельства. Он крепко сжимал пальцы Женщины и, обжигаемый их жаром, хотел лишь побыстрее закрыться от людей, попасть домой, запереться на ключ от многоглазого назойливого мира, зарыться в полутьме комнаты, запутаться в шуршании простыней и захлебнуться женским вздохом.

Нервно всплёскивался воздух.

Голое тело Наташи проникало в Сергея, обволакивало. Женщина переставала существовать вне Сергея. Она растворялась в нём. Сильные движения рук и ног сплетались в единое целое, превращались в длинную гибкую пантеру, которая скручивалась в тугой узел, затем стремительно разворачивалась, дёргалась, рвала свои эластичные мышцы, оглушительно хрипела и наконец падала без сил на мокрую от пота постель, разваливаясь на два истерзанных любовными ласками тела.

Они лежали молча и неподвижно. Сбившееся громкое дыхание металось по растревоженной комнате. Наташа не успокаивалась, то и дело вздрагивала животом.

Окно мягко шевельнулось синей занавеской, надуло её, словно пузатое привидение. Синий свет от занавески тускло плескался по столу возле окна, где были разбросаны учебники, тетрадки, ручки, карандаши и лежала обёрнутая в газету книжка про любовь и приключения. Серёжа сидел, уперев локти в стол, и жадно читал. Звонкие удары пиратских кривых ножей так громко вырывались со страниц, что Сергей боялся, что мама услышит их и войдёт в комнату. Но поединку было не до мамы и не до школы. Корабль качался в огромных волнах, разрезал носом шумную морскую пену, скрипел снастями. Два человека, падая ежеминутно на скользком полу, размахивали ожесточённо страшными ножами. Холодные лезвия со свистом рассекали плотный дождливый воздух. Но вот один из них дёрнулся, а на его рябом бородатом лице от удара лопнула кожа, брызнула кровь. И тут же тяжёлая волна накрыла его

и смыла за борт. Победитель с трудом удержался на ногах, выронил нож и бегом направился к лестнице. Громко простучали его размокшие сапоги. Он сбежал по лестнице вниз, прыгнул в трюм и упал у тела связанной девушки.

— Теперь никто не разлучит нас! — выкрикнул он и с остервенением вцепился в верёвку зубами. Губы в крови. Над головой болтается тусклая лампа, вздрагивает свет… И вот девушка свободна. Она утомленно протянула к возлюбленному руки и заплакала.

За спиной распахнулась дверь, и в комнату вошла мама.

— Что ты делаешь?

Шторм мгновенно стих, корабль с влюбленными исчез в захлопнувшей книге.

— Почему ты не включаешь свет? — спросила мама. — Глаза испортишь… уроки сделал?

— Заканчиваю, мамуль. — Серёжа локтем отодвинул книжку и включил настольную лампу. — Мне не темно. У окна ещё совсем светло, мам, ты не беспокойся.

— Ладно. Скоро ужин.

И мама вышла, прикрыв за собой дверь. Занавеска качнулась. Сергей отодвинул её и выглянул в окно. Уже зажглись фонари, свет горел в некоторых окнах и в пустых витринах.

— Ты можешь сегодня остаться у меня? — он обернулся и посмотрел на кровать.

Наташа потянулась в сумраке, и тело её показалось ещё более зазывным, чем при свете.

— Нет. Я должна сегодня быть дома. Там какая-то родня приезжает. Надо матери помочь, — она поднялась и проскользнула в ванную, такая почти невидимая, почти ненастоящая, как из сна.

Опять ложь! Из какого сна, когда она ощутима, когда от соприкосновения с ней дрожит сердце и переполняется шипучими искорками, колючими, как иглы. Сплошной обман. Передёргивание карт. Дерево растёт не для того, чтобы давать тень, или чтобы украшать, или чтобы испускать кислород, а чтобы им топили печь. Пластика тела, танец, музыка, песни, оказывается, предназначены для продажи. Скульптуры из мрамора ваяются специально, чтобы у них откалывали носы, руки, уши. А невинные

девы с лицом мадонны приходят в мир, чтобы немытые подонки насиловали их в мусорной подворотне… Но ведь это ложь! Ложь, потому что не для этого. И ложь, что это ложь, потому что происходит именно так. Издеваются, ломают, крушат, оплёвывают, уничтожают. Вьётся под ногами истоптанная тропинка жизни, корчится, виляет. Выходят на неё мастеровые в холщовых рубашках. Шнурками кожаными волосы перехвачены, чтобы в работе не мешались. Красивые, сильные, умелые, послушные руки несут молотки и топоры. И принимаются они за дело. Рубят вдоль тропинки стволы, валят деревья, чтобы из живой красы сложить мёртвую, чтобы вместо леса потянулись ажурные терема. В теремах сгрудятся люди, откроют школы, начнут жизни учить, об истине станут говорить. А у людей родятся дети, которые свалят новые деревья и сложат из них крепостные стены, чтобы истину защищать. Станут бороться за неё, убивать, пускать кровь, потому что истина дороже жизни…

— Не дуйся только, Серёженька, — Наташа лизнула ему руку. — Мне правда нужно быть дома. Ты же знаешь, что я всегда остаюсь, если могу. Я твой верный пёсик, ведь так?

Он грустно кивнул.

— Не провожай меня, я сама доеду! — воскликнула она и выпорхнула за дверь, щёлкнув английским замком.

Сергей Павлович опустился на кровать и долго сидел голышом без движений. В такие минуты ему казалось, что его обокрали до нитки, отобрали самое главное, чем он владел, самое нужное именно сейчас. Птица Счастья вырвалась из рук и оставила на ладонях ощущение пустоты… Но это всё не так. Опять проклятая ложь, которая притаилась в мозгу. Его не обокрали, ничто не отобрали, не лишили ничего. Наташа, чудесная, славная девочка, поселилась в его сердце, в нём самом, поэтому не может она пропасть никуда.

Сергей Павлович вытянул руки за голову и опрокинулся на спину. Постель овеяла его лёгким дурманом женской наготы, которую скрывали в себе помятые подушки и простыни. Он пошевелил ногами и посмотрел на кончики пальцев поверх своего голого тела. Странно оно выглядело отсюда. Выпуклая грудная клетка, плоские соски, живот совсем не виден, потому что

провалился, зато сильно выступает отвратительное приспособление мужского организма в густых волосах, из-за которого виднелись ноги с кривыми пальцами.

— Урод, — проговорил он.

За дверью послышались голоса и джазовая музыка. Сергей Павлович прищурился, слегка приподнял голову. Щетина на подбородке тронула грудь. В сумраке тихой комнаты ясно слышалось веселье за стеной, а в щели затворённой двери желтел свет. Сергей Павлович пошевелил ногами, и в ту же минуту дверь распахнулась.

— Привет, Сергуля! — воскликнул отец и щелкнул выключателем.

Комната озарилась.

— Здравствуй, сынок! — за спиной отца показалась мать с бокалом шампанского.

— С днём рождения, — сказал отец, и позади него джазовая перепалка поднялась на пару тонов.

— Как вы здесь оказались? — удивлённо покрутил головой Сергей Павлович и оперся на локти.

— Так мы к тебе на день рождения пришли, — засмеялись родители. — Всё-таки шестнадцатилетние! Так что поздравляем. А ты бы поднялся, а то развалился нагишом на лежанке! Патриций…

Сергей Павлович вскочил, распахнул шкаф, быстренько натянул свитер и брюки, заглянул в зеркало и увидел своё мальчишеское лицо с первым пушком под носом. Он подошёл к родителям и поцеловал их.

— Мамуля, папка! Так здорово, что вы появились! А то я уже стал думать, что вы насовсем пропадёте, — он обнял их двоих и услышал знакомые запахи родительской одежды. Запах мыла, табака, духов, крахмальной рубашки и пудры.

— Что ты такое бормочешь? Что за глупости, сынуля? — всплеснула руками мать. — Как навсегда? Ну было дело, умерли мы, так что ж? Разве это помеха?

— Как у тебя дела в школе, Сергуля? — поинтересовался отец.

— Нормально. Сначала меня не очень трогали, когда вы в аварию попали. Говорили, что надо в себя прийти. Никто, правда, не знает, кто, когда и как в себя приходит… А теперь уже на всю

катушку спрашивают по всем предметам. Всё-таки полгода прошло.

— Ты, сыночек, учись, — забеспокоилась мать, — а то я знаю, как ты всякие там приключения читал вместо уроков.

— Ну мам, — Серёжа недовольно тряхнул головой, — я же теперь самостоятельный. Сам всё понимаю.

— Молодец! — похлопал отец его по плечу. — Я всегда в тебя верил.

— Пап, — вдруг поднял глаза Сергей, — а умирать вам было больно?

Отец улыбнулся, потрепал сына по голове и обнял жену.

— Нет. Больно было, когда машина врезалась, когда кувыркались. Даже не больно. Просто тряхнуло сильно. Одним словом, какое-то неприятное чувство. Но это считанные мгновения, пока живы были. А едва освободились, умерли то есть, сразу почувствовалась лёгкость…

— Ну, — потянулась мать к столу, — надо нам выпить шампанского за твоё здоровье… Шестнадцать лет. Паспорт получишь.

Серёжа пошёл было к столу, но тут задребезжал телефон.

— Девочка, небось, звонит? — засмеялся отец.

— Да что ты так сразу, — надула губы мама.

Сергей подбежал к аппарату.

— Алло.

— Сергей Павлович? — протрещала трубка.

— Я.

— Это Геннадий говорит…

— Привет тебе, старик, — Сергей присел на стул и бросил взгляд на дверной проём, где виднелся край стола и бокал с вином. Мама выглянула на мгновение и скрылась за косяком.

— Слушай, Палыч, я задержусь завтра часика на два, ты предупреди начальство, ладно?

— Сделаю, — Сергей Павлович опустил трубку на рычаг. Он посидел неподвижно, пока не выключился магнитофон. Джаз смолк и наступила тишина. Равнодушная тишина. Безучастная.

Сергей Павлович прошёл в комнату к столу и отпил шампанского из бокала. Второй бокал был пуст.

Снова задребезжал телефон.

— Слушаю.

— Серёженька, — зашептала Наташа в трубку, — я со всеми делами управилась и могу у тебя появиться. Что ты делаешь?

— Пью наше шампанское.

— Не пей. Я скоро приеду, докончим вместе, — и в трубке прерывисто загудело.

— Сергей Павлович, сегодня на ночь ты получаешь в дар целый мир! — засмеялся он и нырнул в постель. Мир будет гибким, теплым, упоительным и, непременно, вздыхающим. Непременно. Он вдохнёт синеву комнаты и вернёт в неё вместо воздуха горячие невидимые губы. Ох, эти губы! Сколько их было?

Сергей вдруг увидел стол, себя за столом, где сидели перед ним женщины. Много женщин. Так много, что бесконечная вереница их скрывалась за вздувшимся зелёным холмом.

— Скажи что-нибудь нам, Муж, — проговорила одна из них, показав густые, как синька, глаза из-под пушистой пряди жёлтых волос.

— Разве я вам муж? — удивился он, невольно прикидывая число собравшихся перед ним особей женского пола.

— Муж! — грянул в ответ хор. Их было слишком много, чтобы Сергей Павлович сумел поверить в правильность их ответа. Видимо, подумал он, этих женщин загипнотизировал какой-нибудь очень способный маг и натравил на него.

— То есть вы, барышни, утверждаете, что каждой из вас я довожусь супругом? Иными словами, с каждой из вас я…

— Нет, — перебила его черноволосая красавица с глазами кошки и вишнёвыми губами. — Не с каждой. Далеко не с каждой. Но потенциально ты стал мужем. Ты же сам всегда утверждал, что Муж — это не просто партнёр по постельным оргиям. Это — Друг. Это — Помощник. Это — Любовник. Это — Мусорное Ведро, в которое можно слить дурное настроение… О некоторых из нас ты думал, представлял с собой рядом. Но большая часть тебе не знакома. И эти женщины думали о тебе в то время, как ты находился с другими. Ты давал нам понять, что мы привлекаем тебя чем-то, интересны тебе, дороги чем-то, что-то в нас ты любишь. То тебе нравился голос, то волосы, то фигура, то цвет глаз или одни лишь ресницы, Ты сам иногда не мог точно сказать, что именно

привлекает тебя в нас. Но никогда ты не говорил о любви, хоть и готов был любить…

— Интересная мысль, — хмыкнул он.

— Ничего интересного. Кобель высшей пробы.

— Это я-то? — вспылил Сергей Павлович.

— Именно. У тебя в паспорте даже отметка соответствующая сделана. Не всегда тебе удавалось воплотить свои мужские помыслы в жизнь, но и слава Богу. И без того разбитых сердец не счесть.

— Но я не виноват. Вы просто слишком склонны к увлечениям.

— А кто виноват? Мы разве виноваты, что сердце жаждет любви и готово открыться любому добродетельному порыву? Мы разве виноваты, что ты привлекателен, что внешность твоя коварна? «Склонны к увлечениям»… А что это значит? Разве увлекусь я обезьяной или дрессированным крокодилом?

— Это не разговор! И вообще я почти никого из вас не видел никогда… Столько женщин! Да я и мечтать не мог о таком количестве!

— Это не оправдание, Муж. Мы тебя видели, мы тебя полюбили. А то, что ты об этом не знал, совершенно нас не интересует. Нам о тебе рассказывали, мы о тебе мечтали… Впрочем, ты, кажется, имеешь что-то сказать.

— Да, — Сергей Павлович поднялся с места. — Девушки и Женщины, прошу вас внимательно меня выслушать. Кажется, я начинаю понимать, что здесь происходит… Дело в том, что человек я весьма одинокий. Таких много на земле, но, собственно говоря, не в одиночестве дело. Беда моя в том, что я бесконечно боюсь жизни. Она меня пугает, страшит всеми формами своих проявлений. Я собираю по крохам мои силы, чтобы хоть как-то уменьшить ужас существования. Стараюсь отвлечься, забыться. Я окунаюсь в общество прекрасной половины человечества, потому что при этом происходит некоторое успокоение. Возможно, что связано такое влияние только с природой женщин, я имею в виду их материнство, нежность, умение погладить по голове, сокрыть под крылом. Но чтобы обратить на себя внимание Женщины, нужно быть по возможности привлекательным. Я писал стихи, мне приходилось рисовать, музицировать. Мне просто необходимо было постоянно притягивать к себе взоры Женщин, иначе я остался бы

один и спятил бы… Простите меня, если вы считаете меня виновным в ваших душевных болях. Я помогу, если вы подскажете, где сидит заноза. Я попробую помочь… Я брал от Женщин ласку, тепло, уют. Мир показал мне свое второе лицо, и я понял, что он не так уж угрюм. Однако потом меня посетила другая мысль, которая сделала моё положение еще более ужасным и безнадежным. Мне подумалось, что вам тоже страшно жить. И тогда я стал еще более нежным с вами, чтобы вам стало лучше и легче. Однако вы принялись любить меня с особым усердием… Что я могу поделать теперь? Чем загладить вину мою? Я никому не причинял зла и дарил только доброе отношение, но из него почему-то произрастали колючие кустарники. Я рассказывал о любви, о красоте, но вы принимали слова мои за скрытое объяснение в любви…

Сергей Павлович продолжал говорить, и слова его постепенно становились сочнее, красочнее. Он объяснил сидевшим перед ним, что страх его порой становится так велик, что пропадает сон, отнимаются холодеющие ноги, ногти на пальцах рук принимают фиолетовый оттенок, а голова норовит зарыться куда-нибудь подальше, подобно страусиной. Именно в такие минуты возникает у него желание прокричать заветные слова.

— Мама! — и спрятаться в тёплых успокоительных руках.

— Папа! — и ощутить себя за неприступной стеной.

Однако нет папы с мамой. Есть одинокий человек по имени Сергей Павлович, который сам не уверен в том, что он есть он, что он — именно такой, каким себе кажется, что разыскивает он свою, как принято говорить, половинку. Копает повсюду, копает без устали. Теперь уже так глубоко зарылся, что вылезти нет мочи.

И он внезапно разрыдался на глазах у всех Женщин, Богинь, Самок, Девочек С Бантиками. Разрыдался потому, что понял он, чего раньше не понимал. Бог его оказался бездушной деревянной куклой. Материнское тепло, к которому он тянул свою слабенькую мальчишечью шейку, оказалось недосягаемым. Не было такого тепла, а была лишь только мечта о нем. Лживая, как всегда, память превратила родительскую ласку и нежность в волшебную силу, способную избавить от любых забот, напоить чудодейственным отваром из обнадёживающих слов, после чего забьют сильные

родники в организме… А ведь нет! Враки! Выдумки!

— Всё будет хорошо, сынок, всё образуется. Вот увидишь.

И ничего не менялось. Каждая клеточка неподвижно стояла на своем поганом месте. Но Серёжа успокаивался на время и верил, что жизнь менялась из-за родительских поглаживаний по голове в лучшую сторону…

Обманывала мама. Жестоко обманывала.

— Ма-ма! — надрывно закричало пространство вокруг него.

— Ма-ма! — заколотилось обезумевшее сердце.

— Ма-ма! — мольба о помощи прорвалась сквозь утомлённое тело.

— Ма-ма! — застонал он, и женские руки обвили в ответ его шею.

— Это я, Серёженька.

— Мама? — спросил он в темноту.

— Наташа, — прошептало в ответ, и он обнял её, прижался лицом к любимому телу и позабыл о блуждающем в тёмной комнате кошмаре. Сколько спокойного материнского тепла излучает Женщина! Значит, не нужна Мать, чтобы получить это. Или же дело в том, что Мать живёт в каждой Женщине? Сколько убаюкивающих песен слышится в её голосе. Сколько очередных надежд вселяется в душу. Сколько новой лжи.

Вокруг распускалась ночь. Бархатные лепестки её выворачивались из несуществующего чёрного бутона, подобно беззвучным волнам мягкой материи.

Всяческие насекомые заверещали во тьме, и в костре зашипели сырые ветки. В прыгающем красном свете появилась рыжая морда кобылы с белой полоской на лбу и мохнатой гривой. Морда была живой, но казалась плюшевой, и мокрый нос её с широкими мягкими ноздрями смешно и по-доброму шевелился.

Простучали за костром колёса электрички, проползли жёлтые квадратики мутных окон, и какие-то люди унеслись прочь от уютного костра. Или не электричка это, а трамвай?

Да, последний трамвай с грохотом промчался по улице. За окном в шелестящей листве притаилась ночная тишина. Уснул город. Только Сергей не спит, которую ночь подряд не спит. Глаза широко раскрыты, разглядывают потолок. Мысли не слушаются.

Всегда послушные, они, дети его мозга, теперь перестали подчиняться. Они вышли из-под контроля, вытаращили глаза, распустили толстые рыхлые языки. Они жили уже не в голове, а вокруг неё, совершая самостоятельные движения в пространстве. Мысли тонконогими паучками вскарабкались на потолок, сгрудились там мохнатой массой и расковыряли трещины. Посыпалась штукатурка, и грохот её падения в ночной тьме показался взрывом. От звука содрогнулись стены, с шумом и пылью вывалились кирпичи. В образовавшиеся дырки брызнула густая небесная синева, и ворвавшиеся в комнату искорки звёзд зазвенели, как рассыпанные медные монеты. Небо лилось, заполняло прохладными тягучими волнами комнату, и из них вдруг вынырнула Женщина. Это была Мать. Она бережно несла на вытянутых руках младенца. Она поднялась над синим океаном, и луна окатила её молочным светом, чтобы очертить прекрасные формы лица и тела.

— Не покидай меня, сынок, — сказала Мать младенцу, и Сергей Павлович понял, что в теле ребёнка на её руках скрывается он сам. Он чувствовал в детских пальчиках свои будущие руки, в тонких ножках слышал пульсирование зреющих мышц, а в сердце различал сжатый бутон нераспустившегося ещё времени.

— Не покидай меня, ибо ты оставишь тогда свою природу, мой мальчик, — продолжала Мать, — природу, которая приходится тебе пищей и воздухом. Ты провалишься в болотную трясину, и она сожрёт тебя вместе с миллионами неведомых тебе чудесных черт человека. Останься со мной, останься во мне…

И младенец внезапно потянулся к Матери, смешно обнял её доверчивыми пухленькими ручонками и принялся спускаться к её чреву. Тело материнское распахнулось, и Сергей увидел, как ребёнок исчезает внутри, будто он таял. Обволакивающее тепло Матери захватило его. Он закрыл глаза и пошептал:

— Мама…

— Спи, миленький, — приблизились к нему глаза, и он узнал Наташу.

— Хорошая моя, — шепнул он, — милая, чудесная…

— Что с тобой, Сергуля? — она тронула губами его ухо.

— Добрая моя, за какие такие грехи послала тебе судьба мою

беспутную душу?

Комната ответила глухим молчанием.

— Неужели я не способен ни на что хорошее в жизни? — Сергей обтёр взмокший лоб ладонью. — Для чего встречаю я людей? Зачем становятся они мне близкими? Почему женщины заставляют меня верить, будто я их глубоко и навечно люблю? Зачем обманывают меня? Какая же это любовь, когда руки нетерпеливо тянутся к женским грудям, а губы мои ищут женский голос в полураскрытом рту?

— Странно ты рассуждаешь. Можно подумать, что ты погубил всех женщин на свете своим неукротимым любовным нравом.

— Не всех. Может быть, даже очень мало, может, ни одной. Я не считал… Но ведь чтобы болела совесть, достаточно и этой одной. Для меня две-три женщины, с которыми я имел любовную связь, превратились в бесчисленную армию. Армия вошла ко мне в мозг с целью извести меня, сжить со свету, засадить в тесную комнатку психбольницы. Человеку не надо тысячу раз убить, чтобы превратиться в убийцу. Не требуется обокрасть всех повстречавшихся прохожих, чтобы стать вором. Достаточно одного раза. А иногда хватает одной лишь мысли, чтобы до самой смерти нести бремя неискупимой вины.

— Но как ты можешь сравнивать? — удивилась Наташа из густоты тёмного пространства. — Ты не совершал преступлений. В чувствах никого нельзя винить. Тебя любили. Ты давал радость, счастье!

— А им на смену приходили печаль и одиночество.

— Сергей, ты передёргиваешь карты, — повысила она голос.

— Жизнь, дорогая моя, сплошное шулерство. Бесконечное поле, засеянное ложью. Лично я уже не способен разглядеть истину. Меня обманули, когда в детстве объясняли, что есть что. Обманули. И это есть истина. Получается, что истина в данном случае — обман. Даже то, что мы с тобой обсуждаем, по сути своей является ложью, потому что мы пропускаем слова через водоём наших чувств, и слова окрашиваются в новый цвет. Глядишь, а истина уже подгримирована. Всматриваешься, и не понимаешь, что за физиономия перед тобой. Лицо, обыкновенное, чистое, простое, открытое, близкое и знакомое лицо Женщины преображается

в Королеву, Самку или же Богиню. Под сочной многоцветной штукатуркой на лице дорогостоящей проститутки не всегда удаётся разглядеть черты своей тринадцатилетней дочери. В сморщенной маске мертвеца не узнаешь любимое лицо отца.

— Господи, о чём ты говоришь, Серёжа? — Наташа включила свет, но вместо неё на Сергея посмотрел толстый лысый врач в белом халате, который не застёгивался на большом животе.

— Будем, пожалуй, лечить. У вас, молодой человек, безобразное состояние. Так истерзать нервную систему! А известно ли вам, что нервные клетки… Впрочем, какая разница? Надо, голубчик, браться за ум и ставить всё на свои места. А то куда мы с вами придём?

Толстяк хрустнул накрахмаленным белым рукавом, вытер им сопливый нос, тщательно протерев обе ноздри, и извлёк из нагрудного кармана термометр и толстый шприц.

— Надо, голубчик, вливание вам сделать!

Сергей Павлович дёрнулся от врача в кровати, сгрёб в охапку пахучее больничное бельё и швырнул его в блестящую иглу шприца. Простыня задела лампочку, и свет пропал.

— Серёжа, что с тобой? — услышал он голос Наташи. — Плохой сон?

— Нет.

— Ты так сильно дёрнулся.

— Всё хорошо, Наталочка. Ты же знаешь, что мне всегда хорошо, когда я сплю. Я иногда вижу страшные сны и тогда посыпаюсь. Но едва открываю глаза, как с болью сознаю, что испытанный ужас был во сне, а не наяву. И мне становится нечем дышать. Ведь из сна, пускай из дурного, я вылез наружу, где нет сна, где бесконечная идиотская реальность, которая маразмом своим перещеголяла самый кошмарный кошмар… Боже, как я хочу спать!

— Серёженька, но ведь ты спишь.

— То есть?

— А что тебя удивляет? Разве ты видишь что-то сверхъестественное, что не может уложиться в рамки обыкновенного сна?

— Нет, — Сергей тихонько вздохнул.

— Тогда почему ты не веришь, что ты спишь? Или во сне обязательно должны летать на перепончатых крыльях всякие там

абракадабры?

Сергей промолчал, почему-то немного смутившись, а Наташа продолжала говорить ему в ухо:

— Обыкновенный сон. Самый нормальный сон. Никаких превращений. Никаких чудовищ. Только ты и я.

— А ты кто? Я не вижу в темноте…

— Я твоя дочь, — ответила Наташа.

— Доченька, — улыбнулся он после недолгой паузы. Потом вдруг забеспокоился. — А что это значит?

— Это человечек, малюсенький такой человечек, который верит в то, что ты сильней всего мира, что можешь всегда защитить, спасти, оградить…

— Понимаю. И ты мне веришь. Веришь в то, что я всё это могу.

— Да, верю. Не верю даже, а знаю. Всякий ребёнок знает, что его отец — самый надёжный человек… Ты же мне отец. Мне ли не знать, что такое отец?

— Ты говоришь, что я твой отец, — Сергей Павлович протянул руку и погладил сидящую рядом с ним девочку, у которой нащупывались две коротенькие тугие косички. — А что такое ребёнок? Вот кем мне приходится дочь?

— Маленьким пушистым обманом. Ты думаешь, что она что-то особенное, что она больше всех нуждается в тепле и внимании, что ей нужнее других быть счастливой и удачливой. И ты помогаешь ей обманываться.

— Почему?

— Потому что ты ей даёшь то, что она хочет, что она выдумывает…

— Любовь.

— Да, — послышался голос Наташи, и под рукой очутились женские душистые волосы. — И не только ей.

— А кому ещё? — подозрительно спросил Сергей Павлович.

— Ещё мне, — улыбнулась в темноте Наташа.

— Но ведь ты моя дочь.

— Да. И не только дочь. Ещё Жена, Любовница, Товарищ, Сподвижник…

— И это всё ты?

— Я ещё много разных вещей и характеров, милый мой. Разве

ты не помнишь?

— Нет.

— Тогда ты и в самом деле спишь. А я думала, что я просто с тобой шучу, глупости всякие говорю…

— Какие же глупости? — удивился Сергей. — И как ты можешь говорить мне что-то, если я сплю? Тогда, получается, ты у меня во сне.

— Я у тебя в душе, — она ласково погладила мягкой рукой его по шершавой щеке. — Я ведь не просто Женщина тебе. Я твоя Судьба. Меня очень много. Я сама с собой вожу хоровод, пою разные песни, любуюсь бантиками на косичках, красуюсь перед зеркалом, тайком крашу губы маминой помадой, целуюсь в подъезде и на дискотеках, мечтаю о прекрасном рыцаре, влюбляюсь в сокурсников, тоскую на скучной работе, мечтаю о тебе…

— А разве меня нет? Зачем тебе обо мне мечтать, радость моя?

— Потому что я глупая девчонка. Все люди, Серёженька, глупые. Мы ведь совершенно всё перепутали. Мы позабыли, что выдумываем всякие приключения, которых бы в жизни страшно испугались, что мечтаем о таких спутниках жизни, которые своей правильностью нам надоели бы через несколько дней… Мы позабыли, что фантазии наши основываются на жизни, что они и есть наша жизнь. Мы всё забыли. И поэтому я мечтаю о тебе, даже, когда лежу рядом с тобой и чувствую твоё тело. Я вся в каких-то образах.

— Как ты похожа на меня, — протянул он тихо.

— А что тебя удивляет?

— Ничего, но всё-таки… Всё-таки странно. Вот сейчас, к примеру, я вижу хоровод, который ты водишь сама с собой. Тебя много и все вы (все ты) прямо над моей головой, прямо над лицом моим. Сандалии, туфельки, сапожки, юбочки детские, бальные платья, строгие костюмы. Девочки, Женщины, Потаскухи, Матери, Подруги… Не могу различить, сколько тебя сейчас.

— Меня всегда много. Сколько клеточек в твоём сердце?

Сергей Павлович не расслышал последнего вопроса Наташи. Он увлечённо разглядывал пёструю гирлянду вращавшихся над ним фигурок.

— Какой удивительный хоровод… Неужели это просто сон?

Карнавал

Маскарад! Время обманчивых лиц и раскрашенной лжи! Море ярких безумных физиономий из картона, море музыки, превратившейся от избытка в поток шума, море голосов, море пёстрой одежды. Брызги фейерверка. Заразительное ржание многочисленных шутников. Ласковые женские руки, прижимающие тебя в танце. Проворные пальцы карманников, виртуозно забегающие в карманы веселящихся. Сколько разных чувств. Сколько шаловливой таинственности! Сколько вседозволенности!

Совершенно круглый шар вместо головы — вот что увидел я на чудненькой женской фигурке возле себя. Никаких признаков лица не проглядывалось сквозь странную и даже жутковатую маску. А платье было похоже на сшитые между собой обрывки различных материй, довольно тесно прилегавшие к телу. В отдельных местах кусочки ткани то ли расползлись, то ли специально не были сшиты, чтобы создать эдакий интерес в адрес хозяйки, и в таких местах очаровательно виднелась голая кожа.

Я обхватил эту женщину за талию и повлёк её за собой в безумный хоровод пляшущих. Должен заметить, что бурное веселье обыкновенно делает людей похожими на обезьян. Взбрыкивающие ноги, пропеллеры вместо рук, идиотский хохот —

всё весьма забавно, когда являешься полноценным участником таких действ. Но теперь я смотрю на эту карнавальную пляску, как на праздник уродов, ибо маски на лицах неподвижны и мертвы, движения нелепы и безобразны, а звуки, изрыгающиеся из дырок-ртов, в нормальной обстановке сошли бы за вопль больного в усмирительной рубашке. Однако я сам орал и восторженно хохотал, слыша безумный мой голос, и безобразно извивался в ковылявшем ритме танца. Партнёрша подпрыгивала напротив меня, шлёпала ладонями по своим взлетавшим ногам и издавала чёрной круглой головой очень самодовольное хихиканье. Я энергично закатал рукава длинной клоунской рубашки и освободил руки для шалостей. Шалости я наметил вполне определённые — максимально увеличить количество разошедшихся лоскутков на платье дамы. Мне это удалось довольно скоро. Но если на хозяйку изорванного платья теперь совершенно открытое голое тело не произвело впечатления, то я впал в состояние явно далёкое от цивилизованного равнодушия. Разноцветные вспышки фейерверков то и дело выхватывали из тьмы движения обнажённых ног и живота. Я видел в полуметре от себя прыгавшие шарики грудей с напрягшимися пупырышками сосков. И тут вдруг что-то обожгло меня, что-то колючее, маленькое. Может быть, это была искорка бенгальского огня в неосторожной чьей-то руке. Я замотал головой, а когда успокоился, то увидел нагую фигуру совершенно спокойной. Чёрный шар пусто пялился на меня. На секунду мне сделалось жутко, исчез даже вульгарный обезьяний порыв в нижней части тела. Я тоже остановился и увидел её протянутую руку. Длинную, тонкую, полную холодной силы притяжения. И я шагнул к той руке, шагнул к женщине без лица, шагнул к дивной открытой фигуре. Я — напомаженный Пьеро, родившийся из брызг карнавала, нелепый человек в белом.

Мы пошли через буйную толпу, и никто не смотрел на нас. Молния предупреждения пронзила мой мозг, но я не успел отреагировать. Кто-то, слепой от безумной радости, сильно наткнулся на меня плечом. Удар развернул меня и в пылавшем огне я разглядел на том месте, где я только что танцевал, мою спутницу, её блестящую круглую голову. Я посмотрел перед собой и растерялся, увидев всё ту же чёрную жемчужину вместо головы.

Но и позади меня была она. Я ощутил это совершенно ясно, безошибочно, всем существом. В толпе оставалась не другая в таком же обличье, а та же самая женщина. Но и эта молния угасла в моём возбуждённом сознании, так и не остановив меня. И бледная рука с красивыми и ласковыми движениями пальцев повлекла бедного Пьеро дальше.

Толпа безумствовала в водовороте праздника.

Чёрная жемчужина проникла в какую-то дверь и поманила меня к себе. Я вошёл и тут же увидел множество расставленных вдоль стен зеркал. В них пенилось огневое ликование маскарада. Отражался в них и я. Попадали в зеркала и лохмотья, едва прикрывавшие нагую фигуру. Фигура приблизилась ко мне и принялась развязывать верёвку на широких клоунских штанах. В зеркалах я заметил, как пышно скользнули вниз белые штанины. На полу разметались и сброшенные лохмотья. Безголовое тело с готовностью развернулось перед моим желанием. Я говорю «безголовое», потому что в темноте растворялась чёрная голова, и казалось, что шевелившаяся на полу женщина не имела её вовсе. Я подполз к ней на коленях и ощутил жаркое прикосновение её раздвинутых ног.

— Сними свою дурацкую маску, — взволнованно услышал я собственный голос.

— Это не маска.

Я уже работал руками над её телом, громко дышал и сопел. Её руки скользнули под мою рубашку и вынырнули возле моего лица из широкого ворота. Длинные пальцы потеребили мои напудренные щёки. Я не удержался и припал губами к её шее… И остановился.

Белизна её кожи над ключицами начинала теряться и уже на середине шеи становилась совершенно чёрной. На подбородке кожа приобретала некоторый блеск и натягивалась гладкой поверхностью шара над всей головой. Вернее сказать, над тем местом, где обычно у всех голова. Потому что у женщины головы не было. У неё был блестящий чёрный шар, который оказался вовсе не маской.

Я закричал очень громко, но голоса своего не услышал, потому что страх законопатил мне уши до самого мозга. Помню, как я

шарахнулся от неё, путаясь в спущенных до пяток штанинах. Ударившись о толстое зеркало лбом, я услышал звон и понял, что слух ко мне вернулся. Однако открыв глаза, я закричал ещё громче, ибо вместо моего лица на меня таращилась настоящая рожа шимпанзе, размалёванная под Пьеро. Я отчётливо помню дырочки ноздрей, вскинутую верхнюю губу, распахнутые челюсти, зубы…

— Что ты кричишь? — в зеркале отразился и чёрный шар. — Что ты меня испугался? Подумаешь, голова у меня особенная. Тебе же не голова нужна, не лицо. А то, что нужно, в полном порядке — тёплое, податливое, тесное. Сам-то ты тоже не красавец.

— Это не я! — заорал я в панике, тыча пальцем в зеркало.

— Я знаю. Но ты таким сюда пришёл.

Мои руки стремительно подцепили штаны, ноги бросились к двери, а горло издало визг, явно принадлежащий не мне. Дверь я распахнул всем телом наружу, хотя при входе она открывалась внутрь. Но уж что удивляться, когда я был не я.

Улица встретила меня тишиной и пустотой. Но пустота была унылой и жуткой. Пахло дымом. Ветер шевелил шуршащие обрывки цветастых ленточек и бумажных шляп. Переползали с места на место фантики и надувные шары. Гладкие стены высоких серых домов молчаливо уставились на меня чёрными квадратами окон. Я резко обернулся и, не отрывая глаз от бездонной пустоты двери, откуда я вырвался, попятился. Я двигался медленно, боясь издать лишний звук. Но злобный волшебник той ночи решил надорвать моё сердце ещё одной шуткой: под ногу мне попалась забытая кем-то гитара. Можете себе представить внезапный грохот её тонких деревянных стенок о мой каблук. А звон струн, эхом запрыгавший по стенам домов. В свете догоравших тут и там факелов моя белая фигура в стремительном беге могла показаться случайному прохожему мелькнувшим привидением. Но прохожих не встретилось. Улица крепко уснула или даже умерла.

Этого я не узнал никогда, так как ноги несли меня с непередаваемой скоростью долгое время. Я оставил позади город, добежал до заброшенной станции и там рухнул без сил в высокую траву. Здесь только я заметил, как стучало сердце, выскочившее из груди к самому горлу.

— Эй, что это там белое такое? — раздался чей-то далёкий голос.

— Тряпка, что ли? — ответствовал другой.

— А чего валяется без дела? Давай прихватим…

Когда шаги стали приближаться через шуршащую траву, я понял, что речь шла обо мне. Белый костюм Пьеро светился под луной.

— Так тут человек…

— А что он разлёгся тут?

— Так он из маскарада, наверное. В городе сегодня праздник.

— Упился, что ли? Пьяный он или как?

Они долго смотрели мне в размалёванное лицо. А я упорно молчал.

— Чудной. В пудре весь, как баба, — сказал один.

— А я не обезьяна? — вырвалось вдруг из меня.

— Нет, ты — клоун, — серьёзно откликнулся второй.

Они подняли меня, отряхнули слегка и повели с собой, расспрашивая о празднике. Читатель, обладающий тонкой и чувствительной натурой, должно быть, поймёт без лишних слов моё скверное состояние после имевших место событий и не осудит за молчаливость, в которую я внезапно провалился. Изредка я лишь бурчал в ответ невнятные слова.

А вокруг стелилась ночь цвета синих чернил, и густые волны её раскачивали безвольную уснувшую степь. Над моей головой сгустилась в пространстве белая дырка и превратилась в луну. И я ощутил некоторое подобие спокойствия. Широкие стебли шумно сминались под ногами, одновременно с шуршанием с них ссыпалось нечто, напоминавшее росу, но росу чёрного цвета.

Заметив во тьме эти жемчужинки, я понял, что воспалённое воображение моё вовсе не остыло, как мне показалось первоначально. Я даже разглядел в некотором удалении от нас лунный свет, упавший на круглый чёрный шар, под которым угадывались женственные очертания.

— Куда мы? — взволнованно обратился я к моим спутникам.

— Отдыхать идём. Сегодня было много работы, длинный день. Скоро доберёмся…

И мы на самом деле скоро добрались. Меня сильно удивило, что вошли мы в дверь той самой заброшенной станции, которая угрюмо возвышалась над таинственно раскачивавшейся степной травой.

Это была та самая станция, до которой я успел добежать и рухнуть без сил возле самого её порога. Но шли мы до неё достаточно долго. Кругами бродили, что ли?

Дверь натужно заскрипела и выплеснула на нас полосу жёлтого электрического света.

— Гости…

— Привет хозяину! — Один из моих спутников отпустил меня и протопал к столику, что стоял посреди помещения, устало повалился на стул и вытянул ноги в огромных грязных башмаках. Другой похлопал меня по плечу, как бы желая подбодрить. И тут же они обо мне позабыли, словно перешли в какое-то другое измерение. Я остановился в растерянности.

— Артиста привели? — Хозяин, одетый в пятнистые военные штаны и белую майку без рукавов, довольно постучал себя по мощным рукам. — А ну-ка, артист, сострой мне весёленький номер какой-нибудь. Умеешь веселить добрых людей? Ты, как я погляжу, клоунством промышляешь?

Я вяло покрутил головой и сделал пальцами отрицательный жест.

В ответ на это из-за дальнего столика выскочил не замеченный мною карлик и просеменил ко мне на кривых ножках.

— Ночь-то какая, — прошипел он снизу, однако я не понял, что именно он имел в виду. А он выпучил глазищи и, уцепившись ручонками за подол моей белой рубахи, принялся шевелить толстыми губами. — Дорога окутывает всякого путника в наши дни, как она делала это и сотни лет назад, потому что дорога составляет нашу жизнь. И странности обязывают человека видеть в жизни бесконечный заколдованный круг, артист. В твоих глазах я читаю ужас и недоумение. Это оттого, что ты…

Он не договорил и вдруг прикрыл рот ладонями.

— Ты что заткнулся, Трепач? — громко спросил хозяин.

— Чую приближение… Приближение всегда очень важно… К приближению надо быть готовым, — проворчал карлик и поспешил к своему столу, там он забрался на стул и ухватился за рюмку.

Я стоял и неотрывно смотрел на него, вернее не на него, а на стену позади этого человечка. Над самой его головой висела

картина. Я приблизился к ней тяжёлыми шагами.

С холста на меня взирала отрубленная обезьянья голова из лужи булькающей крови, а верхом не ней сидела маленькая фигурка голой женщины, у которой на шее вместо головы был насажен чёрный блестящий шар.

Я обвёл глазами помещение станционного кафе, но никто на меня не смотрел. И не слышалось ни звука, хотя трое посетителей и сам хозяин то и дело наливали из бутылок в свои рюмки, опрокидывали их и с силой ставили на стол. Они пили с каким-то остервенением. Задирали голову, вливали вино и снова наполняли рюмки. И всё в ватной тишине. Или мои уши снова перестали слышать от страха?

Я сел напротив карлика и услышал собственный голос.

— Я не тут… собственно… я хотел сказать… что живу я в совершенно ином мире…

— Нет, нет, всё не так, — карлик покачал перед моим напудренным носом указательным пальцем.

— Я полагаю, что это сон. Такое бывает, такое случается, — попытался продолжить я мысль. — Очень длинный сон. Очень подробный. Вот сейчас открою глаза и проснусь…

— Нет, нет. Всё не так, — карлик брезгливо сложил губы в бантик. — Вся жизнь есть сон, артист, так что не спеши просыпаться. Когда ты проснёшься, ты умрёшь…

И в ту же секунду этот кривоногий коротышка с невероятной прыткостью вспрыгнул прямо ногами на стол, беззвучно сшибив бутылку, и бросился на меня вперёд своей большой полулысой головой. Я увидел плеснувший по коже его лба матовый свет и ощутил между глаз удар огромного бильярдного шара. После того мир на мгновение оглушился карнавальным криком толпы и озарился искрами бенгальских огней, а следом за тем тонко запищал и стянулся в глубокую чёрную точку. Я успел услышать, как лязгнул засов безмолвия, и провалился в глухую тьму.

Страх, читатель, это такое чувство, думается мне, через которое проходило большинство умов, но далеко не всякий способен определить, какой именно страх касался его души. Многие заверяли меня в своё время, что разбирать подобные состояния глупо, нелепо и чуть ли даже не пошло. Но пускай даже так. Я всё равно считаю,

что природа данного чувства такова, что постижение её имеет первостепенную важность. И на мой взгляд, пусть и не поддержит меня никто в моём мнении, избавление от страха ведёт человека к полному освобождению. А может ли быть что-нибудь важнее освобождения? Перешагнуть через страх — это с равнодушием смотреть в ненавидящие глаза смерти при её внезапном появлении. Отшвырнуть покрывало ужаса и кошмара… Но что такое ужас? Я не могу, не способен, не умею объяснить. Я лишь знаю, что к смерти он не имеет отношения. Я доподлинно помню, что он скрывается за безликим чёрным шаром вместо головы, из которого исходит вовсе не дыхание смерти, но холод неизвестности.

Ах, я опять отвлёкся. Но мысли мои, пусть и нескладные, требуют выхода, а я пытаюсь их сдержать, пытаюсь всеми силами успеть рассказать о событиях, имевших место той ночью.

Итак, я провалился во тьму.

Когда же глаза мои открылись, я увидел надо мной потолок, с которого свисала мохнатая гроздь паутины. До слуха доносилось неопределённое шипение. Я поднял голову и оглядел опустевшее помещение. Столы, стулья, коротенькая стойка, за ней три полки, набитые бутылками с цветными этикетками и маленький включённый телевизор, на экране которого серыми полосками шипели помехи.

Я медленно встал. Безлюдное кафе охватило меня всем своим пустым пространством. Оно сжало меня словно руками, нервно задрожало и полезло внутрь, в легкие, в живот. Скрипнувшая дверь заставила меня вздрогнуть. Я увидел, как щель наполнилась устрашающей чёрной пропастью, готовой всосать меня, стоит лишь шагнуть к выходу. И я кинулся к противоположной стене, плотно прижался к ней спиной, затылком и руками. Тело требовало защиты, но от чего? Что угрожало ему? Неужели неведомые силы ополчились на мою провинившуюся в чём-то оболочку? Неужели кровавая расплата уготовлена чьей-то коварной душой для моей трясущейся плоти? Я не мог в такое поверить. Но слишком много довелось мне лицезреть за последние несколько часов, чтобы не уверовать в самое даже невероятное. Да и не требовалось мне верить. Я уже верил. Я превратился в веру, в знание, в ожидание. Я видел лицо ужаса, неминуемого, неизбежного. Оно представляло

собой рыхлые складки, лепившиеся друг на друга. И жуткое это лико распахивало огромную пасть так широко, что заглатывало само себя. Но всё сказанное не видимо для глаза, а осязаемо для души. Как же не бояться, ежели чувствуешь?

Я повернул голову под чьим-то взглядом и встретился глазами с картиной.

Отрубленная голова обезьяны продолжала лежать неподвижно, лишь кровавая лужа изредка хлюпала пузыриками. Но женщина с чёрной головой исчезла. Ушла. Скрылась, чтобы не быть картиной, чтобы жить и преследовать меня.

Мои ноги, обратившиеся в чугунные гири, громко застучали по дощатому полу. Глаза, словно кто-то зацепил их и тянул к себе, вперились в дверной проём и влекли меня к нему под опасливый стук каблуков. Одежда Пьеро белым знаком привидения колыхалась на мне. Но сам я отсутствовал, ибо переполнялся безумием, которое вытесняло из меня мой разум и меня самого. Всяческие голоса зашептали мне навстречу. И я открыл дверь.

Прохладные губы прижались к моему лицу. Губы уплывающей ночи. Я нащупал, не глядя, дверную ручку и затворил за спиной дверь, оставив кафе глотать свой собственный жёлтый воздух. Станция безмолвно ждала моих действий. Слепое окно билетной кассы сверкало в лунном свете шрамом треснувшего стекла. Над головой слышался скрип сломанной телеантенны.

И тут мне пришло на ум, что всё складывалось для меня наилучшим образом. Ведь если я становился безумцем, то никакое безумие не могло меня уже страшить, как огонь не страшится огня. Но будучи в трезвом уме и полном здравии душевном, мне также не стоило опасаться сумасшествия по той простой причине, что нормальному человеку оно не опасно, так как образы, рождаемые безумием и питаемые им, не способны затронуть сознание человека здорового. Остановившись на такой мысли, я как-то расслабился и сделал шаг вперёд.

В наступавшем утреннем тумане я увидел среди стеблей травы две холодные металлические полосы — то были убегавшие из-под ног куда-то вдаль рельсы. Проследив их стремительный бег взором, я заметил в сумраке стройную женскую фигуру, уже такую знакомую мне. Гладкая круглая голова её, казалось, оборачивалась

на меня, но определить это было невозможно.

И ещё я успел разглядеть в её руке топор. Лезвие звякнуло пару раз о рельс, но формы женщины и чёрного шара уже развеялись во мгле. Я остановился в нерешительности. Позади лежал изнуряющий беспокойный сон, хорошо знакомый мне. А что было впереди? Его продолжение или пробуждение? Скверная ночь подходила к концу, но я застыл, замер неуверенно, уже занеся для шага ногу…

В тумане проплыла кривоногая тень карлика, и снова звякнул о рельс тяжёлый топор…

Девочка-ангел

Москва оплывала за окном мокрыми красками фонарей. Поезд лениво стукнул колёсами, дрогнуло купе. Москва медленно поехала назад.

Дождь, ночь, покачивание вагона и сжатая в нервном кулаке жизнь. Вся прошлая жизнь. Вся прошлая жизнь, которую не выбросишь, не утаишь от себя, не обманешь. И вся жизнь будущая, столь же болезненная, единственная и неизбежная, как и прошедшая.

Аркадий опустил голову и прикрыл лицо ладонью. Где-то вне его истерзанного мира, который обрывался сразу за закрытыми глазами, слышался перезвон стаканов с ложечками, невнятные голоса, размытая брань гнусавой проводницы. Чужие, нелепые звуки, лишённые смысла. Но сколь ни они казались посторонними, они кишели вокруг Аркадия и сгущали невидимую паутину вокруг его головы, вот уже много дней отгораживающую его от суетливой реальности. Они густо слепливались шумной стеной, склонялись над ним и превращались в гигантский шумный колпак. Он казался себе человеком, спрятавшимся в плотный слизистый кокон, мутно разглядывал мелькавшие перед собой тени, поднимал иногда глаза вверх, но видел только тяжёлый пласт воды, придавивший его

к белому дну ванной. В этой ванной он однажды пытался умереть, но спьяну полоснул бритвой не в том месте. Тёплая вода наполнилась красным туманом. Мерцание звуков убаюкало его тогда, но не унесло совсем. Колыхание чужих лиц, плеск слов, потопленных в вязких сонных слезах. Тягучее безмолвие, пустыня, где то и дело встречаются высохшие веточки бесполезных слов… Слова… Эти неповоротливые ископаемые. Они превращены в чучела, в которые все тычут пальцами без нужды. Они стали окаменевшими скелетами с безнадёжно застывшими позвонками. Зачем слова, если они не могут выразить ничего? Если они застревают в ушах? Или пусть себе носятся-вертятся, подобно осенним листьям на ветру, они не нужны ни для чего, разве кто-нибудь составит из них резной кленовый букетик раз-другой…

Аркадий шевельнул пальцами и почувствовал, как ладонь прижалась горячей кожей к дрожащим векам. Тонкой резиновой плёнкой охватили веки глаза. Потным лезвием полоснула куда-то под бровь прямая линия жизни. Зажглась искра — молния в небе или брызнувшие нервы.

Колёса, колёса. Они давно потеряли свою круглую форму и превратились в монотонный квадратный перестук бегущей дороги. Квадратный перестук. Неуклюжий перестук. Безостановочно стучащие колёса. Летящая за окном мокрая ночь. Мелькали красные и жёлтые огни, размытые по тёмным окнам дождливыми пальцами.

— Кто же всё устроил так? — прошептал Аркадий и почувствовал в висках вспухающие комочки накатившей головной боли. — Какая сволочь залила душу чернилами?

Он распластался на своём месте и тяжело и с сипением выплеснул из себя воздух, будто выливая жидкий чугун. Выдох выпустил наружу лёгкое привидение в виде прозрачной карты с изящным изображением червовой дамой с двумя разными лицами, впрочем, похожими друг на друга. Рисунок проплыл над головой Аркадия и набросил на него невесомую ткань-тень. Нарисованные дамы спорхнули с игральной карты и вытянулись в пространстве, оформившись в человеческий облик. А газовая ткань таинственно изогнулась, опустилась на Аркадия и окутала его сном. Две женские фигуры заботливо склонились над ним

и улыбнулись.

В темноте зажглись их глаза и влажные губы.

— Спи, дурашка, спи, — в один голос шепнули они. — Сегодня в этом твоё единственное спасение. Сон проведёт тебя в нужную дверь. Ты только не теряй внимания.

Аркадий кивнул во сне головой и сказал, не произнося ни звука, то, что услышали только две стоявшие рядом женщины.

— Мне необходимо объясниться, девочки.

— Мы знаем, — ответили они. — Мы даже знаем, что именно ты хочешь сказать.

— Разве такое возможно? — удивился он. — Этого не знает никто. Я и сам лишь догадываюсь, будто в мутной воде руками ощупываю. Хочу сказать, но не знаю, что именно. Потому и хочу поговорить с вами, ангелы мои, что я должен разобраться в происходящем. Я же ничего не понимаю, запутался я. Сам себе руки перетянул жгутом, мозги клеем залил.

— Глупости, — ответила одна из дам.

— Ты не бурли, — проговорила вторая, — а полежи спокойно. Всё само собой прояснится. Понимаешь ты это или нет? Слишком много чувств. Они потопят, раздавят, сожгут, пожрут. Ты не справишься с чувствами. Они непобедимы. Они вне человека. Но ты добровольно запускаешь их в себя. Чувства живут из века в век, они бессмертны. Поэты слагают гимны в их честь, потому что находятся в услужении у чувств и стали их рабами. Чувства непобедимы. Страсть сильнее логики. Ты можешь превозмочь её на время, пересилить, но не убить. Ты сдержишь её, не дашь выплеснуться, но она всё равно останется в тебе и будет терзать… Не спеши, просто лежи и смотри. Пусть всё идёт перед тобой, а ты лежи и смотри…

Аркадий молча кивнул.

Женские фигуры плавно поднялись в сонный воздух и обратились в игральную карту. Из тьмы к нарисованным королевам выплыли другие карты. Запестрели короли, шестёрки, тузы…

Аркадий сунул руку за пазуху и достал оттуда ворох потрёпанных бумаг.

— Вот, — произнёс он, не открывая глаз, — эти старые тетрадки я

обнаружил случайно. Они рассыпались из-за моей небрежности. Эти листки — может, их нет на самом деле, может, это сон — я нашёл в одной папке, которую запихнул почему-то подальше от чужих глаз, словно самое сокровенное. Но здесь толком ничего нет. Обрывки, которые я вам хотел адресовать, но не сумел. Я, оказывается, не умею пользоваться словами. Чувства есть, но нет слов, из которых я мог бы вылепить эти чувства. Огонь на бумагу не ложится. Но если вы утверждаете, что во сне можно сделать всё, я попробую составить эти листочки воедино. Только вы не разъединяйтесь, оставайтесь одним целым, чтобы мне было проще с вами разговаривать.

Аркадий опустил руку, и листки посыпались из его пальцев на пол, превращаясь в белые тени и пропадая вовсе.

— Я прошу вас, — заговорил он снова, — не становитесь разными людьми. Останьтесь той самой Девочкой-Ангелом, которая единственная достойна любви, которая способна прикоснуться к обнажённому моему сердцу, испить из него свежей горячей крови, не замарав губ, и кровь эту музыкой вокруг разлить. Не становитесь женщинами плоти, прошу вас! Останьтесь той самой Принцессой Любви, которой служат Звёздные Дети, о которой слагают самые тихие, шепчущие стихи, портреты которой пишут, не касаясь холста краской. Останьтесь Девочкой-Ангелом! Останьтесь! Останься!

Аркадий вскинул руки вверх и, не заметив, стукнул пальцами по нависшей над ним тёмной полке с верхним пассажиром.

— Девочка, разве ты не знаешь, чего стоили мне те чёрные дни, которые вывалились из моей памяти омертвелым мясом? Или не знаешь ты, как я рвался к тебе, чтобы рассказать обо всём, что терзало меня изнутри? Может, ты скажешь, что не помнишь, как я пришёл к тебе и спросил в ужасе: «Скажи, ведь всё хорошо? Ничто не изменилось?» И ты приблизилась, взяла мою руку и ответила в самые глаза: «Всё хорошо. Всё в порядке». А потом отошла, обернулась и покачала головой: «Ну и выглядишь же ты…» А как иначе я мог выглядеть? Что я мог? Любовь показала мне свой инквизиторский лик и приговорила к сожжению. Ах, почему я не умер тогда? Почему нашёл в себе силы жить?.. Вру… Не нашёл в себе никакой силы, слаб оказался. Продал мою волю… Не могу без тебя, умираю, кровью харкаю. На стену лезу, когда нет тебя, когда

представляю себе, как ты с кем-то другим комкаешь прохладные простыни… Ты не можешь быть женщиной, не можешь, потому что не может у тебя быть того, чем пользуется каждая самка в похотях своих. Ты же Ангел!

Аркадий резко перевернулся и уткнулся лицом в подушку. Сон на мгновение лопнул, в прорванную дырку застучали колёса.

— Ложь, — проговорил Аркадий. — Я сам сделал из тебя икону. На тебя молюсь только я, а другие не делают этого, не желают, не умеют… Да и ты не хочешь быть иконой. Тебе важно, чтобы тебя видели женщиной, шикарной женщиной, бесподобной. Может быть, даже жрицей, но с чувственным и жадным телом… Я говорю тебе о твоих крыльях, которых на самом деле нет, об океане твоих глаз. А ты подставляешь мне губы… Чего хочу я? Кого в тебе? Ту ли самую, которая видна всем, или ту, которую я выдумал? Ведь ты для меня просто миф. Твои щёки, похожие на мрамор, впитавшие в себя долгий тёплый дождь, гладкие, матовые, мягкие, они не могут быть отданы ни в чьи руки. Но я успел осквернить их моим прикосновением… Я молю тебя, Девочка-Ангел, прости меня за этот поступок.

Аркадий поморщился. Стремительно пролетавшие под грохот колёс пятна то и дело высвечивали на его лице слезинку, за которой тянулся влажный след до сжатых губ. В мелькающих пятнах виднелась его опущенная к полу рука, ищущая что-то в пустоте.

— Ангел не может стать ни женой, ни любовницей! — крикнул Аркадий и внезапно изогнулся, будто кто-то сильно ударил его ножом в спину. Он взмахнул руками и бросил их призывно в пространство. Две женщины тотчас подступили к нему.

— Ты слишком взволнован, — заговорила одна из них.

— К которой из нас ты всё время обращаешься?

— Я, — Аркадий ощутил касание их рук, успокоился, — я обращаюсь к вам обеим. Ведь вы — одно целое. Вы — Девочка-Ангел.

— Это твоя сказка. Ты здорово замусорил ею свою голову… Нас две, нас необходимо различать. Пусть мы и одна карта, но на ней два лица.

— При чём тут карта? На самом деле…

— На самом деле, — оборвала его одна из женщин, — нет

никакой карты. Есть два разных живых тела, которые тебя привлекают. Имена и фамилии этих тел весьма прозаично записаны в паспортах…

— Чёрт! — Аркадий сбросил с лица прозрачную ткань и сел, отирая пот со лба. — Что за дьявольщина?

Он огляделся. Попутчики тихо посапывали. Шевелились их крупные носы и губы. Хрюкающие звуки рвались из прокуренных лёгких наружу и терялись в стуке колёс. По тесным стенам купе ломались полоски бегущего света. Громко хлопала в тамбуре дверь с испорченным язычком замка.

Аркадий посмотрел в окно. Там плавно скользили автомобильные фары. Они ехали вместе с поездом, в ту же сторону, с такой же скоростью. Аркадий улыбнулся. Ему подумалось, что эта машина обязательно направлялась вместе с ним и по тому же делу. Это был попутчик. Кто-то вне поезда, но с ним. Кто-то из другого мира, но с ним. Кто-то, такой же точно, но в ином пространстве. Кто-то, убегающий от своей жуткой тоски и одиночества.

Тоскливо задребезжал и вдруг смолк стакан на столике, будто кто-то властной рукой оборвал его звенящую жизнь, удушил её, расправился с ней, как со слабеньким мотыльком, беспомощно бьющимся о стекло огромного окна.

Аркадий вспомнил, что однажды сам чувствовал себя таким же мотыльком. Он был пьян и пытался пройти сквозь непробиваемое стекло пьяного дурмана, пройти и удержаться за какую-нибудь осязаемую деталь, чтобы не пропасть, чтобы остаться. Но стена не пускала. Сквозь неё было видно жену, друзей, огромный стол, но Аркадий не мог быть там. Он барабанил мотыльковыми крылышками, кричал что-то, но могучая сила, будто океанская волна, швыряла в него новую порцию вина, и стекло становилось толще.

Гости хлопали в ладоши, хохотали. Звонко падали со стола вилки и ножи. Плескалась на скатерть жирная подлива. Раздавались громкие поцелуи, приправленные непонятно каким соусом. Кто-то свалился со стула. Мир был реален, но пьяное стекло отгораживало Аркадия от него. Тянулась музыка, залитая плачем саксофона, и раскачивались танцующие пары. Тяжело упал большой мешок. Гости кинулись поднимать его. Оказалось, что это какой-то гость.

— Это, случаем, не я сейчас там рухнул? — поинтересовался Аркадий.

— Нет, не ты, — ответила откуда-то из темноты партнёрша по танцу. — Но ты обязательно упадёшь, потому что ноги поджал и висишь у меня на руках.

И он упал. Но упал не на пол, а значительно глубже, и не сумел ничего вспомнить. В голове осталось стальное кольцо, разложившееся рёбрами чёрной скрипучей пружины и убежавшее в бесконечное пространство. В самой глубине плескалась маслянистая вода. Он упал в неё, глотая тяжёлые волны. И чёрная краска проникла в его голову, болтаясь, плескаясь, как в помойном ведре.

Перед глазами среди неясных теней вдруг проявилось незнакомое женское тело, совершенно нагое и разгорячённое.

— Это что такое? — пробурчал Аркадий.

Он торопливо оглядел себя и убедился, что одет лишь в мятую рубашку. Голые ноги и бёдра вяло прижимались к раздетой женщине.

С нарождающимся ужасом вспомнилось, что гости давно ушли, что была ссора с женой, что жена ушла, безумно хлопнув дверью, что квартира безмолвствовала, и по ней плавали пьяные призраки недавнего сомнительного веселья. Он отполз от женщины и застонал. Внутри копошилось неизвестное животное и старалось через горло Аркадия высунуть длинный хвост, из-за чего всё тело содрогалось и выворачивалось наизнанку. Какие-то подозрительные человечки расхаживали беззаботно по его внутренностям, топча ногами истерзанные полости нервных клеток. Там, где ступали их ноги, клетки пускали жёлтый сок, и этот сок заполнял вмятины глубоких следов и неутихаемо кипел, брызгая вокруг себя, обжигая.

— Где я? — спросил Аркадий и увидел пролетевшую перед лицом карту с двумя лицами. — Я в поезде?

— Ты едешь в поезде, в купе…

— Странно, — удивился он. Как вовремя подвернулась командировка. Трясись себе, болтайся из стороны в сторону под идиотский стук колёс, взбалтывай память помутневшую.

Аркадий покачал головой и ощутил, как густой ил, налипший

на внутренней стороне его глаз, начал омываться падающей водой.

— Давай постоим под дождём, — послышался рядом женский голос.

Аркадий увидел над головой глубоко вздыхающие кроны деревьев, через которые сыпались мелкие капли. Косые лучи матового тёплого солнца протянулись между ветвями. Давно забытое настроение, полное беззаботности и беспричинной радости, накатывалось отовсюду, будто окружающий мир только и дожидался этого момента, чтобы заключить Аркадия в свои счастливые объятия.

— Отлично, да? — спросила весело она.

— Ага, — он стоял с запрокинутой головой и встречал дождь улыбкой. С замирающим от восторга сердцем он следил за собой и пытался угадать причину странной радости. Он будто потерял почву под ногами и провалился в бушующий океан восемнадцатилетия. Искры, брызги, внезапные взлёты шипучих волн, смех, игривый блеск глаз, мимолётные объятия. Неужели всё дело в том, что он позабыл свой возраст? Или в том, что он махнул рукой на всё и на короткое время стал беззаботным? А что потом? Потом придётся расхлёбывать и это. Потом навалится кошмар…

Они шумно топали ногами и кружились на месте, раскидывали руки и хватали растопыренными пальцами дождевые хрусталики. Потом случайно столкнулись.

— Какая встреча! — Она звонко засмеялась.

Аркадий сгрёб её обеими руками, оторвал от земли, где пузырилась лужа, и прижался щекой к её мокрому лицу.

— Моя! — громко зашептали его губы, и он зажмурил глаза.

В тот же миг она выскользнула из его объятий, и он ощутил мгновенную пустоту, которая в доли секунды переполнила его изнутри, надавила безжалостно и стала сочиться сквозь поры кожи.

— За что? — зарыдал внутри него сгорбленный старичок. — Ужели платить надо даже за самое бескорыстное и светлое чувство? Расплачиваться за него страданиями? Лелеять надежду, а затем видеть, как она рушится, и ловить обездоленными руками её крохи?

— Успокойся, — четыре добрые ладони погладили его по голове, и старик пропал, оставляя Аркадия самим собой.

Две женщины улыбнулись ему.

— Ты не так смотришь. Говоришь о бескорыстном чувстве и приплетаешь сюда же любовь. Это невозможно. — Заговорили они. — Любовь потому и радостна, что она ублажает тебя. Но разве это похоже на бескорыстие, когда ты требуешь внимания к себе, когда ревнуешь?

Они продолжали говорить, но их фигуры уже сплелись в воздухе и, в очередной раз превратившись в нарисованных королев, упорхнули.

Аркадий поднялся и вышел на сонных ногах из купе в коридор вагона. Дверь тамбура не переставала хлопать. Аркадий прижался лбом к холодному окну и из-под нахмуренных бровей увидел в стеклянной бездне своё блёклое отражение.

— Так-то вот, — заворчал он. — Всю жизнь приходится видеть эту рожу перед собой, куда ни сунься. Каждое утро начинается с этой физиономии. Чистишь зубы и мечтаешь плюнуть в зеркало всем, что во рту скопилось, таким образом, чтобы навсегда пропало твоё лицо. Ненавидишь себя, презираешь, а расстаться с собой никак не можешь. Однажды чиркнул бритвой по рукам… Теперь ругаюсь, что не смог дело до конца довести, тряпкой называю себя, а в укромном уголочке души всё-таки радуюсь, что жив остался… Подлец… Лгун…

Он отодвинулся от окна. За спиной громыхнула туалетная дверь. Просеменила тонконогая фигура в длинных белых трусах и распахнутом мятом розовом халатике. Аркадий покосился на облегчившегося путешественника, но не успел разглядеть лица под вялыми седыми космами.

— Будущее моё прошлёпало, — хмыкнул он и побрёл по коридору. — Ещё каких-нибудь незаметных три десятка лет, и никто уже не сумеет определить, старик ты или старуха. Белые панталоны, халатик в хлипких заплатках, тощие коленки, провалы в памяти.

Он прошагал до конца коридора, заглянул зачем-то в туалет, осмотрел пахучее желтоватое озеро на полу, безвольный клочок раскисшей газеты в трясущейся воде и вернулся в коридор.

— Пойдёмте в нумера, дружочек, — пригласил он себя, — там, по крайней мере, темно, ничего нельзя увидеть.

Он задвинул за собой дверь и лёг на спину.

В темноте зашелестели чулки, снимаемые с красивых женских ног, за стеной гулко заиграла и оборвалась музыка. Кто-то включил свет и перед глазами возникла комната, плачущая жена. Но лампочка лопнула внезапно. В темноте кто-то прихватил Аркадию горло.

— Кто это?

— Тоска твоя, печаль, боль…

Аркадий поднялся и протянул руку, нога зацепила стул, и он застонал, проехав ножками по паркету.

— Почему ты без света? — спросил Аркадий и нащупал выключатель.

— Отстань от меня, — жена отвернулась, едва комната осветилась.

— Киска, что с тобой? — он присел на корточки перед ней и заглянул ей в глаза.

Она повернулась медленно к нему, и Аркадий увидел, как лицо её потяжелело, лоб опустился, брови сползли на глаза, щёки вздулись, набухшие губы задрожали. Некрасивы женщины в слезах. Не Ангелы вовсе… Аркадий взял её руки в свои, и она разрыдалась, упав без сил около него на пол. Она плакала, и тело её стекало вниз, как вода. Она дрожала.

— Почему? — с трудом выговорила она. — Почему?

Слезы не позволяли ей говорить. Но Аркадию не требовались её слова. Он всё знал. Горькую причину её слез он носил в себе каждый день… Она не могла поверить, что у него была другая женщина, что он любил её, дарил ей ласку, внимание. Конечно, у каждого могут быть увлечения, всякие там молниеносные связи, но любить? Любовь не имела права на существование вне семьи…

— Больно, — прошептала она, — больно осознавать, что ты — не единственная на свете, не самая лучшая, не самая достойная, не самая неповторимая. А когда-то ты говорил, что я самая-самая. Что же, врал ты тогда? Или я стала другой? Я ведь тебе не просто жена, но и друг, я разделяю все заботы, трудности. На мою долю выпадает и твоё дурное настроение, и твои неприятности на работе, и мучительная тоска, когда не могу тебе ничем помочь… Это всё — мне. А ей… только ласки и нежность. Какое право имеет эта женщина пользоваться твоей любовью?

Аркадий закрыл глаза. Жена была права. Но он ничего не мог изменить в ту минуту, и от подобной мысли ему захотелось раскинуть руки, броситься с высоты в мутно-зелёную океанскую пучину, где гигантские зубастые рыбы заплещут мощно вокруг него хвостами и плавниками и разорвут его.

Что мог ответить он той, которую любил, которой никогда не хотел причинять ни самой малой крупицы боли, которую боялся потерять, но которую всё-таки терзал? Какими нелепыми показались бы любые его слова, любые заверения. Они бы вывалили неповоротливые языки, мычали бы, переваливались бы с боку на бок… Как объяснить, что он любит обеих, что любит по-разному, что ни одна из них не теряет при этом никаких своих качеств… Впрочем, это опять слова.

Любовь, нежность, страсть, боль, добродетель. Все они сваливаются в единую кровавую массу. Отрываются от костей клочья живого мяса. Любовные письма тонут в слезах. Глаза надрываются, потому что не в силах более рыдать, и льётся наружу гнойная горечь. В муках живёт человек, бьётся, корчится. Разрывает его на куски многоликое чудовище под названием Чувство. Жуткое животное. Вурдалак, кровь сосущий. Чувство, постоянно изменяющееся, перетекающее, множащееся, цветущее, чахнущее, в каждом поселившееся.

— Ну, где вы там? — спросил Аркадий в темноту купе.

— Здесь, — ожившая карта остановилась перед его лицом.

— Ведь с каждой из вас я подолгу говорил, растолковывал. И всё оказалось зазря. Плевали наши чувства на слова. Нет для них слов. Кожа содранная есть. Боль есть… За что же я так жесток с вами? Каждой поднёс дерьма в избытке… Но что поделать мне? У каждой из вас собственное сердце, у каждой оно болит своей неповторимой болью. Я не могу сгрести вас, подобно пластилиновым фигуркам, чтобы вылепить одну Девочку-Ангела, гораздо более полноценную и доступную, чем вы две сейчас… Любовь оказалась не плоской стекляшкой с нарисованным Амурчиком, а злобным издевательством над слабыми людьми.

Поезд истерично колотил колёсами и мчался вперёд, вспарывая туман длинным змеевидным телом. Аркадий выглянул в окно. Вчера он с надеждой сел в вагон, полный уверенности, что дорога

уладит всё сама собой, командировка замажет бюрократической суетой раны на сердце. Но сегодня, когда сон совершенно развеялся, стало ясно, что убежать от этой жизни некуда. Всё останется на своих законных местах. Никуда не денутся жёны, мужья, собутыльники, любовники, завистники… Они будут надоедать, кусать, дёргать. Они будут требовать. Они будут подсовывать проблемы.

Аркадий отодвинулся от окна и взглянул на попутчиков. Они довольно посапывали. С верхних полок свешивались простыни.

Он отодвинул дверь и опять вышел в коридор. Лампы уже не светили, и в коридоре висел серый утренний воздух. Аркадий услышал шаги и обернулся. Мимо него шёл длинноволосый человек неопределённого возраста в помятом чёрном пиджаке поверх чёрной же майки.

— Вы не курите? — обратился к нему Аркадий. — Сигареткой не побалуете?

— Угощу, — ответил тот, — почему бы не угостить?

Они остановились в тамбуре, и человек достал из кармана пачку сигарет.

— Сами, значит, не будете? — спросил Аркадий, окутываясь едким дымом.

— Я не курю.

— Странно. Зачем же вы в тамбур шли? Неужто для того, чтобы кого-нибудь угостить сигаретой?

— И для этого тоже. Но больше для того, чтобы послушать.

— Послушать?

— У людей, знаете ли, много всяких странностей. Я вот, к примеру, люблю послушать, как колёса колотят. В тамбуре особенный грохот стоит, перестук. Мне нравится этот звук…

— Не курите, а сигареты имеете, — выразил удивление Аркадий.

— Другие курят, вот и вы спросили… Кстати, вид у вас изрядно потрёпанный. Нервы, небось, шалят? — голос незнакомца звучал спокойно, почти равнодушно, но хорошо слышался в оглушительном лязге. — Нервы это плохо.

— Плохо, — согласился Аркадий. Не согласиться было нельзя.

— И глупо. Не нервничайте, — посоветовал длинноволосый.

— Добрый совет, — Аркадий устало вздохнул и обречённо

покачал головой.

— Странные вы люди.

— Кто?

— Да все вы. Напридумываете себе всякого, наворотите дел, навешаете на себя всякого груза, а потом терзаетесь…

— Да, терзаемся по любому поводу, — Аркадий глубоко затянулся и выпустил дым. — Нагрубишь кому, опоздаешь куда, не уделишь внимания — и совесть грызёт. Будто постоянно с каким-то измерительным прибором ходим, взвешиваем, так сделали или не так, соответствуют наши слова или нет…

— Совесть, любовь, ненависть… Это всё от ума. Глупости. Бред. Нет ничего этого. Создавать всё это и есть настоящее преступление. За это и наказание несут люди. Преступление и наказание. Вы только поглядите, какая унылая скука покоится в основе человеческих страстей. А главное — одно и то же на протяжении тысячелетий. Скажем, испытает что-то и немедленно начинает по этому поводу умозаключения строить, чтобы пройти через испытанное вновь, если оно понравилось, или же избежать его. Человек ставит задачу, а всякая задача требует решения, и для решения задачи необходимы усилия. И вот человек уже тужится, напрягается, чтобы избежать чего-то или же добиться этого. А зачем? Жизнь уже дала вам это. Если надо, она ещё раз сама всё приподнесёт, нравится вам это или нет. Вы не сможете ничего своими идеями сделать, кроме как измучить себя.

— А как же чувства? — Аркадий выпустил дым. — Чувства же нельзя сочинить?

— Бред. Я вам только о чувствах и говорил. Чувство — это идея. Вы не можете придумать ощущение, потому что оно от тела, а чувство… Вы же не станете утверждать, что можете, идя по улице, вдруг наткнуться на чувство? Наткнуться на стену или, скажем, на гвоздь вы запросто можете, но это будет ощущение: дырка в пятке или синяк на лбу. А чувства вы потом взлелеете по этому поводу, вы их сделаете сами, любовно вылепите на пустом месте, бережно нарисуете их, распишете поэтическим слогом. Вы будете переживать событие снова и снова, смаковать его, обдумывать. Это и есть чувства. В жизни чувств нет. Это миф. Поэтическая трепотня. Но так как трепотню эту многие воспринимают всерьёз, из-за неё

порой и в петлю лезут, и вены вскрывают. Но это в том случае происходит, когда люди свои чувства оберегают, лелеют, взращивают их. И тогда чувства пожирают человека. Человек пропадает, а чувства вылезают из него, как чудовище какое-нибудь из фильмов ужасов. Тут вот и говорят, что чувствам не прикажешь. Куда уж приказывать, когда хозяина нет, человека нет. Одни чувства есть. Они сожрали его сознание, он не способен контролировать свои действия.

Аркадий хмыкнул.

— По вашему лицу вижу, что вы понимаете, о чём я говорю, — посмотрел на него длинноволосый.

— Прекрасно понимаю… Последние дни живу, как в кошмаре… Внутри всё пылает, — произнёс Аркадий, удручённо вздохнув.

— Вот именно: как в кошмаре. Это и есть кошмар. Сон кошмарный. Чувства — сон, дурман, убийственный дурман. И вы сами заставляете себя его принимать. Вы не живёте, вы спите. Лишь иногда выныриваете наружу, вздыхаете пару раз свободно и вновь за какую-нибудь идею хватаетесь. А она вас, как камень, на дно тянет. И опять кошмар…

— Забавно, это обдумать надо.

— Вот-вот. Обдумывайте, кушайте свои мысли, грызите себя… — длинноволосый человек не закончил и, быстро развернувшись, прошёл из тамбура в соседний вагон.

Аркадий растерялся. Он даже шагнул за исчезнувшим, но не увидел его в соседнем вагоне.

— Куда он подевался? Впрочем… Чёрт возьми, это как раз то, о чём он говорил: сразу задаюсь вопросом…

Аркадий кое-как докурил сигарету. В окне мелькал серый пригород. Поезд приближался к конечной станции.

— Надо собираться, — буркнул Аркадий под нос. — Надо? Куда собираться? Боже, впереди всё будет, как прежде. Опять нервотрёпка, опять склоки, опять зубастая совесть…

Он шёл по коридору в купе. Серый утренний воздух сгущался и скручивался в безумные грязные смерчи. Толкались суетливые пассажиры, наступали друг другу на ноги и волокли по узкому коридорчику тюки и чемоданы. Грохотали колёса. Галдели голоса. Мелькали за окнами деревья и столбы. А воздух вокруг Аркадия

становился тяжелее и мрачнее. Он затекал в нос, уши, глаза, проникал в горло и заполнял лёгкие.

— Любопытно, — подумал Аркадий, — будет ли в гостинице ванная? Мне очень нужна ванная… Он говорил, что мы сочиняем проблемы, прикладываем усилия, чтобы решить их. А как не прикладывать? Как же без усилий номер с ванной получить? Пусть усилия, зато ванная будет. Решу эту задачу, могу заняться другой… Была бы ванная и тёплая вода, а бритва у меня найдётся…

Праздник прощания

Моим друзьям, которые есть и которых нет, посвящается

В мои глаза вошли поля, моря, леса.
Мои зрачки — огонь, в них солнце задремало.
Люблю Вселенную. Я верю в чудеса.
Они во всём, что ширь и что предельно мало.
К. Бальмонт

— Я тебе вот что скажу, Матрас, и уж ты поверь мне, — Павел упёрся локтями в чёрную лакированную поверхность стойки и увидел в глубине её зеркальной глади перевернутого себя. Он вспахал пальцами свою мокрую шевелюру и подмигнул толстощёкому бармену. — Сегодняшний день плохо закончится, потому что он с утра не сложился. Это, видишь ли, судьба… Знаешь, что такое судьба?.. У меня на утро, к примеру, было назначено свидание с одной невероятно обаятельной куколкой, однако проклятый дождь испортил всё дело. Жена моя — женщина приятная и душевная, но лишь когда на горизонте нет посторонних девиц… Вот ведь дёрнул меня чёрт жениться! Ты вообще-то хоть чуточку представляешь, что означает женитьба? Нет? Это полный идиотизм, дорогой мой Матрас. Мужчина обязуется класть с собой

в постель предоставленную ему законом жену и клянётся не вступать в сексуальную связь с другими женщинами… О чём это я, старина? Ах, вспомнил… Нагадила мне сегодня жена, испортила красивый праздник. Это голая истина, друг мой… У меня всё уже было заготовлено для приема светловолосой моей подружки, которую я ждал. У неё чудесные ноги, у неё чудесное имя… Впрочем, теперь это не имеет значения… Я выставил на стол пузырик лимонного ликёра, сунул бутылочку шампанское в ведёрко со льдом, разложил ломтики салями и белого сыра, поставил хрустальные бокалы. И тут моя супружница явилась вдруг обратно. Оказывается, она не смогла поймать такси из-за дождя. Ты можешь в такую невезуху поверить, Матрас?.. Ну, бросается она к телефону, чтобы вызвать машину на дом, а у меня сердце начинает медленно покрываться испариной. Смотрю я на часы, а стрелочка всё ближе подползает к назначенному времени свидания. И тут — бац! Звонок в дверь, — Павел от воспоминаний зажмурился и потёр пальцами заметный синяк под глазом. — И вот появляется моя русалка. Мокрая до последней клеточки своего чудесного тела. Жёлтые волосы ко лбу прилипли, а платьице, коротенькое такое, облепило фигурку. Ух, Матрас, если бы ты видел, как торчали сосочки на её грудках! Ясное дело, моя швабра тут же шмыгнула к девочке, мол, что такое, что вам угодно? Я было попытался ввернуть, что ко мне пришли важному делу. Но крыса моя злющая была, глазами по мне полоснула, будто уничтожить хотела… Пальцем в журнальный столик тычет, где уже заготовлен банкетик, и визжит: «А штаны твоя подружка тоже для важного дела сняла?» А девочка моя мокренькая, вся дрожит, и у неё на самом деле под юбочкой ничегошеньки нет! Что ты качаешь головой? Что ты в женщинах смыслишь? Ты вон стаканы протирать не забывай, это твоя специальность, а у меня иной профиль…

Павел подвинул пустой стакан к пухлым рукам Матраса. Тот взял бутылку шотландского виски и плеснул на донышко стакана. Павел кисло улыбнулся, издал недовольный звук, похожий на поскуливание бездомного пса, и пальцами показал, что ему нужен полный стакан. Затем он продолжил рассказ:

— Моя спутница жизни вклеила мне пощёчину и помчалась прочь из дома, успев прошипеть, чтобы я в квартире больше

не появлялся… Вообще-то она у меня женщина интересная, хоть я и называю её крысой. Но это из любви, не по злобе… У неё очаровательные ноги, животик, грудь. Или ты думаешь, что я мог взять в жены уродину? Нет, ты плохо знаешь меня, Матрас, хоть я каждый день тут у тебя сижу… Но ревнивая она до ужаса, страшна в гневе. Тайфун! Тигр саблезубый! И почему она так относится к этому… к этому… к чему она так относится, Матрас, ты не знаешь? Я не понимаю, что именно вызывает у неё ярость. Я же не извращаюсь, с мужчинами ничего не имею, так ведь? А с женщинами… да какой мужчина не любит хорошеньких девочек?.. Ну вот, кое-как мы позанимались нашими нежными делами, но отношение уже не то, сам понимаешь. После этого я попёрся к Папе, потому что он просил меня приехать к нему. Он страшно боится грозы и дождя. Ты же знаешь, он с головой ушёл в религию. А я спрашиваю, какой из него святой может получиться? Он же пьёт не меньше моего. Девок не лапает, это верно, но разве это показатель святости?.. Заехал я к нему и повёл сюда. А дождина хлещет! Страсть. И вот ведь что такое невезение. Напоролись мы на дудонов. Пятеро их было ровным счётом. Голые, как всегда, в полиэтиленовых плащиках, с капюшонами на бритых кочерыжках. Стоят себе, покручивают дубинками, скоты. Никогда не любил я их, честно скажу тебе, а тут совсем уж отвратительное впечатление произвели. И дождь этот, из-за которого ничего не разглядишь… Я было попытался им объяснить, что мы их не знаем и претензий к ним не имеем, что у нас своя дорога, а они ухмыляются. Не хотели они уходить без драки, понимаешь? Ты когда-нибудь слышал, Матрас, чтобы дудоны мирно уходили?

Матрас грустно шевельнул пузатыми щеками и отрицательно покачал головой, соглашаясь с тем, что дудоны мирно вести себя не умеют. Павел вновь подвинул свой стакан.

— Я с ними разговариваю, а они нарочно не отвечают. Стоят под дождём, плащи их шумят под каплями. На нервы, подлецы, давят. За моей спиной Папа трясётся. Мне бы кого другого в тот момент, а не Папу, так мы бы за милую душу отделали дудонов. А из Папы какой боец? И только я успел подумать, что дело дрянь, как они кинулись на нас. Дубинками крутят над колпаками своими, того гляди по макушке мне стукнут. Тут вот я и упал, мать их так

перетак, лужи ведь кругом налиты, скользко, а у меня ещё с утра колени дрожали из-за нервного расстройства. А голышам этим только дай кого-нибудь на спине. Я едва уворачиваться успевал. Пару раз мне всё же саданули, но я стерпел. Синяк видишь под глазом? В конце концов я не выдержал. У меня последнее время в кармане всегда револьвер лежит. Я его хвать и пару раз лупанул наугад. От их дубинок у меня в глазах искры, не вижу ничего. Слышу только, как босые ноги зашлепали прочь… Не повезло мне сегодня… С женой поцапался, с девочкой перепихнулся кое-как, а тут ещё дудоны… И подбегает ко мне в ту минуту Папа. Он, оказывается, в подъезде спрятался, пока эти целлофановые презервативы меня отмолотить пытались, и взывал к Богу о защите. Это, говорит он, меня Всевышний оградил от смерти. Ну, я ему из благодарности чуть было в ухо не засветил. И Папа заплакал, бедолага. Он ведь на самом деле хороший, не злой…

— Рудик у нас человек тонкий, Паш, — Матрас жалостливо поднял брови и вытер у себя под носом мятым полотенцем. — Ты не злись на него.

— Да я и не злюсь. Он при Боге, а все, которые при Боге, всегда слабые бывают. Своих сил нет, вот и надеются на Спасителя. Ты знаешь, я потом даже поцеловал Папу, когда успокоился, ведь всё-таки он не просто трясся где-то, а к Богу взывал. И Папа растрогался.

Павел повертел пальцами пустой стакан и соскользнул с высокого стула на пол. Он поставил стакан на чёрное зеркало стойки и громко рыгнул.

— Ты, Матрас, — сказал он, — собери-ка нам подносик и приволоки минут через десять. Я пойду к своим, а то боюсь за Кадолу. Как бы Папа не извёл его библейскими сказками… Кстати, ты когда-нибудь читал его книжки?

— Чьи?

— Кадолы… Я вот ничего не читал, представляешь? Лучший мой друг и, можно сказать, популярный писатель, а я ничего не читал. Руки не доходят. Ох, короткие у меня руки, — Павел взмахнул конечностями, как варёными крыльями, и направился в угол ресторанчика, где возле огромного окна с витиевато выполненной надписью «Сідалище» сидели за столиком и потягивали густое пиво

Кадола и Рудик-Папа.

— Ну, что, Папа, оклемался маленько? — Павел остановился около них и нежно потрепал Рудика по курчавой голове.

— Присаживайся, — Кадола толкнул ногой свободный стул, и тот плавно подъехал к самым ногам Павла.

— Какие манеры, господа! Какой сервис! — Павел элегантно, театрально поклонился, хлопая в ладоши, и плюхнулся на стул. — О чём ведёте речь, старики? Позволите включиться в дивную вашу беседу?

— Включайся, — опустил глаза Рудик.

— Что с тобой, Папа? — Павел взял со стола пивную бутылочку, чокнулся ею со стаканом в руке Рудика и отхлебнул из горлышка. — Похоже, вы грустите, ребята. А можно ли здесь грустить? Пусть на улице льёт проклятый дождь, пусть там мерзко и мокро. Но разве не радует вас наше уютное «Сідалище»? Меня радует. Здесь нет дудонов, никто не бьёт морду без причины. А это так хорошо, когда тебе не бьют морду. Или кто-нибудь желает оспорить эту мысль? Папа, ты разве любишь, чтобы тебя колотили? Тебя вообще хоть раз в жизни стукнули? Нет? Бывают же такие счастливые люди. Кадола, обрати внимание на этот непобитый экземпляр гомо-сапиенс. Его никогда не били. Но он всё-таки счастлив. Давайте выпьем за счастье, за это зыбкое понятие!

— Что ты так орёшь? — недовольно забурчал Кадола. — Тебе случайно не в ухо треснули? Нет? Тогда будь другом, не горлопань. Здесь тихое место.

— Да, тихое, а я вот припоминаю кабаки нашего детства, — воскликнул печальным голосом Павел, — толчея, склоки, проститутки в помаде. Прелесть, а не заведеньица были. Разве сейчас отыщешь такие закуточки? Где веселье? Где шумная радость нашей убогой жизни, я вас спрашиваю? Где вызов смерти, чёрт возьми? Нет, не те пошли кабаки. Не то время. Мельчает народ. В тишину втягивается.

Кадола посмотрел поверх Павлика, увидел огромное зеркало, где Матрас тщательно протирал стаканы, а за его спиной светились неоновым дрожащим огнём полки с бутылками. Кадола слушал приятеля краем уха, а сам погружался в трясину воспоминаний. Волной нахлынула оглушительная музыка. Помещение салуна

наполнилось множеством танцующих, зал кишел пьяными людьми.

Кадола увидел своё отражение в зеркале: шестнадцатилетний юнец продирался сквозь толпу к стойке. Пятна мигающего света прыгали по лицам. Кадола впервые зашёл в такое заведение, потому что сегодня был день его первой зарплаты, он чувствовал себя вполне самостоятельным и полноценным посетителем…

В тот вечер он познакомился с роскошной женщиной. Судя по всему, она зарабатывала проституцией. Но его это не интересовало. Он просто хотел её, от желания тряслись колени…

Она отвела его к себе, в глухой двор, глубоко посаженный между высокими стенами домов, и вошли в неосвещённый подъезд. Комната, куда они попали, была тёмная. Единственный лучик пробивался между задёрнутыми тяжёлыми шторами. В полумраке Кадола разглядел ободранные обои на стенах. Пахло пылью. Посреди комнаты виднелась кровать. Мятая простыня, словно истоптанная ногами, безвольно стекала на пол.

— Проходи.

— Что это за место?

— Просто комната.

— Вы тут живёте?

— Да.

— А мне… Как мне называть вас?

— Любым словом. Мне всё равно. У нас с тобой будет мало разговоров. Имена не имеют значения.

Словно электрический разряд пробежал через Кадолу, когда ослепительно раскрылась перед ним нагота её тела. Раскрылась неожиданно, угрожающе вываливаясь мякотью грудей и растеклась перед ним густым тестом. Тело появилось и тут же провалилось в пыльный мрак комнаты. Затем плечи попали в луч света, и белизна их показалась настолько выпуклой, что у Кадолы перехватило дыхание. Следом в солнечное пятно окунулись мясистости грудей с морщинистыми розовыми сосками, заслонившими весь мир. Кадола на мгновение вспомнил тело этой женщины в баре, где оно выглядело изящным, лёгким и нежным. Теперь же каждый сосок был покрыт крупными пупырышками. Всё это пугало и отторгало. Не осталось ничего похожего на ожившее мраморное изваяние. Сплошное мясо.

Её голова качнулась, осыпала тяжёлым ворохом волос и наполнила воздух терпким запахом духов и какой-то краски. К телу прижалась жаркая пухлость. Невидимая рука умело скользнула вдоль его бедра и остановилась, уверенно ощупывая его плотное вздувшееся тело, затем ловко надавила и погладила кожу. Кадола зажмурился. Правда, он всё равно ничего не видел, но боялся вдруг что-нибудь подглядеть. Женщина оказалась другой. Та, что встретилась ему в баре, ушла, унеся с собой влекущую недоступность. Тут же, в плотной близости к его животу и бёдрам, работали тяжёлые мышцы ног, между которыми мокро чувствовалась засасывающая мякоть…

— Дружище, что с тобой? — послышался голос Рудика.

— Он дрыхнет, чтоб я сдох, — сказал Павел. — Эй, господин писатель! Проснитесь, вы ломаете нашу добрую компанию.

Кадола разлепил глаза. Перед ним висело тёмно-синее пространство тихого «Сідалища». Павел разглядывал его через призму бокала. Дождевые струи настойчиво барабанили в стекло.

— Это вы? — произнёс Кадола.

— А кто же? Конечно мы. Куда мы денемся?

— Мало ли, — то ли спросил, то ли сказал Кадола, — всё в жизни меняется.

— Очень меткое замечание, — сказал Рудик, — всё меняется. Сомнений нет. Но мне иногда кажется, что всё стоит на месте, что жизнь не бежит, а топчется, что она замерла или вовсе умерла. Впрочем, дела наши подтверждают обратное. Жизнь стремительно несётся вперёд к самой таинственной точке, вокруг которой роятся философы, учёные и поэты, разглядывая её, суют в неё назойливыми пальцами, прикладывают к ней уши и выстраивают гипотезы. Эта точка называется смертью. И когда на неё вдруг наступаешь башмаком, вдруг понимаешь, что жизнь-то никак не стояла на месте, как думалось в далёкие юношеские годы. И что остаётся делать?

— Напиться и забыться, — воскликнул Павел.

— Это, увы, не выходит мой друг. Я пробовал, но от выпивки лишь голова раскалывается и каруселью бежит. А пользы — шиш с хреном!

— А ты выход, что ли, отыскиваешь? Так ведь его нет, Папа,

и быть не может. Откуда нам выход искать, коли мы не входили никуда? Нет никакого выхода, сплошная безвыходность, — Павел взмахнул руками, и вино выплеснулось из стакана. Брызги тускло зажглись в полутьме. — Я вот, к примеру, пистолет раздобыл. Собственноручно застрелюсь как-нибудь, потому что выхода нет. Я, правда, не ищу никакого выхода, но всё равно застрелюсь. А что остаётся делать? Жизни нет! Разве это жизнь? Моралью и нравственностью по рукам и ногам повязан…

— Тебя, пожалуй, повяжешь, — улыбнулся Кадола. — Если бы ты родился жеребцом-производителем, тебя хоть стреножить можно было бы, а так…

— Ох, умник отыскался, — огрызнулся Павел. — Вас бы обоих в музее восковых фигур выставить за бездушие ваше. Нет в вас настоящей страсти, только холодные рассуждения.

— Зато твоей страсти хватает на всех, хоть табличку вешай тебе на шею, что ты сексуальный безумец.

— Э-эх, — Павел скривился в презрительной улыбке, — гнусные людишки, смейтесь, смейтесь. Да что вы понимаете в любви? Что вы понимаете в женщинах? У вас обоих просто женилки не работают, так вот вы и пытаетесь нормального человека осмеять. А у меня здоровый природный интерес, у меня нормальный аппетит к женскому полу. Вам-то что? Вы при богах и при музеях обитаете, а я тут, на нашей грешной земле. У меня тело просит. У меня интерес…

— Интерес-то у тебя ого-го какой! В штаны не вмещается! — Кадола захохотал.

— Ну, вы уж договорились до такого… — деликатно закашлял Рудик. — Срамно всё это.

— Да что ты понимаешь? — набросился на него Павел. — Что ты всех осуждаешь постоянно? Ты же не Бог, ты при нём лишь мальчиком-пажом вертишься, следишь, чтобы подштанники господни чистыми оставались. Ты полагаешь, что Бог — это чистенький, ухоженный такой старичок, который возлежит на мягких подушках и пердит исключительно дезодорантом? Это мы исходим слюнями, спермой, дерьмом, а он там, на небесах, только о духовной музыке размышляет? Так, что ли? А не он ли нас наделил нас плотью, не он ли наполнил нас грубыми страстями?

Не по его разве воле мы в женском брюхе вынашиваемся и на свет вылезаем из того места, которое ты срамным называешь?

— При чём здесь это? Зачем ты так злобно? — Рудик беспокойно заёрзал на стуле и оглянулся на Кадолу, ища поддержки. — Я не о том… Ты о женщинах… Есть же любовь…

Кадола выпростал из темноты руку и жестом оборвал Рудика.

— Папа, забудь о любви сейчас. Мы в кабаке, а любовь — высокое слово. По крайней мере, должно быть *высоким словом*, коли не имеет сил быть *высоким чувством*. Увы, любовь стащили с небес и опустили чуть ниже пояса, так что забудем-ка о святых вещах. Святого вообще нет ничего. Человечество выдумало святость, сочинило её, чтобы надеяться на что-то и верить… Любовь тоже из области таких понятий. Человек прикрывает свои поступки любовью, низкой или высокой, но любовью, потому что она волочит за собой целую библиотеку благодатных отзывов о себе, песен, стихов, поэм… Любовь становится самой простительной слабостью. Она и окрыляет, и очищает, и возвышает. Это ли не святость? Целая армия классиков поднялась на её защиту. А вот меня, к примеру, никто не защитит. Я пью и пропадаю. Я алкоголик. Я не могу не пить, потому что родился в спившемся мире. Знаю, что это безобразно, и потому подыскиваю себе всяческие оправдания.

— Человечество любит оправдываться, — Рудик потёр пальцами виски. У него начинала болеть голова. — Люди часто судят о человечестве так, будто сами не имеют к нему никакого отношения.

— А я и впрямь не имею отношения к человечеству, — заявил Павел и гордо задрал подбородок. — Я в человечество попал случайно. Нелепая ошибка. Я не должен был родиться.

— Природа не ошибается.

— Значит, ошибся я, когда рождался. Я тоже пьяница, как и Кадола. Я, видно, пьян был, оттого и сунулся не туда, оттого и родился… Вообще-то я хочу спать. Сейчас утро или вечер? Я спутал время из-за этого вечного дождя. Кто разрешил пустить его? Откуда льётся так как долго вода? Мужики, я вам по секрету сообщаю: это катастрофа, это библейский потоп, — Павел отчаянно плюнул.

— Не плюй.

— Почему? Ты тоже плюёшь.

— Я плюю в урну, — ответил Рудик.

— Плюёшь, но не попадешь. Значит, ты тоже плюёшь на пол. Ты вот Бога любишь, а тех, кто здесь пол моет, не любишь.

— Не похоже, чтобы здесь сегодня пол мыли, — проговорил Кадола из своего тёмного угла.

— Тогда зачем Папа плюёт в урну?

— Стыдись, — прошептал Рудик.

— А что мне стыдиться? Я всех презираю. И себя презираю, — Павел неловко постучал себя по груди, как бы не в полной уверенности, это ли тело он презирал, — ненавижу себя за то, что продался жизни за какую-то мимолётную надежду на счастье… Матрас, дай мне ещё вина! Красного! Со льдом! С обломком айсберга!

Бармен поставил на стол тонкую бутылку красного вина и любезно поклонился. Павел дружески похлопал его по руке.

— Спасибо, Матрасик, ты настоящий хозяин, хотя иногда мне очень хочется хрястнуть тебя по твоей толстой морде. Ха-ха!

Бармен засветился доброжелательной улыбкой и с монашеской покорностью сложил руки на груди. В глазах его трогательно дрожали слёзы.

— Что ты лыбишься, Матрас? Вали отсюда к себе за барьер!

Когда бармен торопливо засеменил к стойке, Павел изогнулся на стуле и закричал:

— Прости меня, Матрас, я люблю тебя!

— Бог простит, — скорбно сказал Рудик и торжественно распрямил плечи.

— О, я слышу голос Папы Римского. Дай мне облобызать тебя, Папа, не побрезгуй пьяненьким грешником, родной мой.

Тут что-то привлекло внимание Павла и он вытаращил глаза.

— Вот это да! — он показал пальцем в окно. По улице бежала девушка в короткой юбке, неловко переставляя длинные тонкие ноги. — Как пьяная лошадка, честное слово!

— А тебе приходилось видеть пьяную лошадь?

— Нет, но она обязательно бежала бы вот таким манером. Как бы, по-вашему, ещё она могла бежать? Неужели как пьяный Кадола? Или как кенгуру? Да что вы прицепились к пьяной лошади?

Женщина какая убегает, сейчас скроется… Эх! Никогда не привыкнуть мне к тому, что целое море женской природы так завлекательно проскакивает мимо меня. Безвозвратно проходит стороной… Давайте-ка обмоем эту мысль.

— Осточертело мне хлестать, Павлуша, — раздражённо сказал вдруг Кадола и опустил голову.

— Что с тобой, любезный? Ты заболел? Не отталкивай меня, я всё равно не брошу тебя. Человеку надо помогать, правда, Папа?

— Плевать я хотел на людей, — огрызнулся Кадола, — люди умеют только причинять боль. Мне тошно среди них. Трудно.

— Хотелось бы узнать, где тебе не будет трудно? Есть ли такое место? Где такой заветный уголок? — растянулся в ехидной улыбке Павел.

Кадола рывком придвинулся к нему и так долго смотрел ему в глаза, что Павлу даже нехорошо на сердце сделалось, таким пристальным был этот взгляд. Потом Кадола медленно поднес руку ко лбу.

— Тут вот такое место.

— Неправильно ты думаешь, — встрял в разговор Рудик, — не в себе надобно прятаться, а к Богу обратиться.

— А что Он может, Папуля? — сощурил Кадола глаза и стал злобным и неприятным, — почему ты уверен, что Он вообще на что-то способен? Ты не перестаёшь петь Ему гимны, потчуешь Его молитвами, а в ответ что имеешь? А вот прекратишь ты вдруг кормить Его своими словами — что с Ним сделается? Да твой Бог, которого ты сотворил, без тебя пропадёт!

Рудик вытаращил на Кадолу безумные глаза и не в силах был произнести ни звука. Иногда он вздыхал и взмахивал рукой, будто отгоняя от себя кошмарное видение. Когда повисла тишина, он заставил себя выдохнуть:

— Не говори так… От Бога нельзя отрекаться. Ты себя убиваешь, когда кощунствуешь.

— Да, кощунствую, — кивнул Кадола, — но не очень. А вообще-то я имею странную особенность взращивать в себе всякого рода кощунство, наплевательство, издевательство. Я — плантация безбожности, где выращивают дерьмовые палочки, и эти палочки я продаю тем, кто их покупает. И для себя немножко дерьма

оставляю, чтобы швырять его в тех, кто надумает лезть в мой мир без разрешения. Люди хотят жрать дерьмо, так почему бы не дать им его? В избытке накормлю. Тошнить станет, а я ещё подброшу, чтобы насмерть поперхнулись. Уж чего-чего, а такого добра в моей писательской душе хватает. Цветов нет, а навоза сколько угодно.

— Что-то ты сегодня зол, — пролепетал совсем уже окосевший Павел.

— А нечего соваться ко мне с нравоучениями. Не по душе мне это. Не люблю чужие пальцы в моём супе. И сам не полезу руками в чужой обед. Человек питается тем, что ему по вкусу, а насильственное питание бывает только в больнице.

— Ответь мне, друг мой старинный, — Павел вытянул ноги под столом, задел башмаком ножку стула и свалил на пол две пустые бутылки, — о чём ты пишешь книги? Ты меня, свинью, прости, что никогда не читал тебя, но согласись, я и без того постоянно слушаю твои слова. Неужели ты, помимо разговоров, ещё что-то и на книги оставляешь? Ну ты даёшь, старик. Честное слово, мне очень захотелось тебя почитать сейчас. У тебя случайно с собой нет какой-нибудь твоей книжечки? Не носишь? Жаль… Когда-нибудь умные очкарики будут о тебе лекции читать, а я буду хвастать во все стороны, что за одним столом с тобой сиживал, пиво потягивал и на брудершафт мочиться ходил. Ведь ты прославишься в веках, Кадола? Тебе обязательно нужно прославиться, иначе я не смогу хвастать перед моими детьми… Расскажи мне о твоих книгах…

За окном, чихая в бесконечном дожде, протарахтел пузатенький автомобиль старой модели, облепленный мокрыми фигурами. Они невнятно кричали, пели, размахивали руками.

— Тоже какие-нибудь дудоны, пропади они… Все они на одну морду, разве что без колпаков и не голые, — Павел проводил автотарантас косым взглядом. — Так вот про книги с тобой беседовали, старик… Как бы мне соприкоснуться с ними?

Кадола смотрел на пьяного друга и улыбался, злость покинула его. Ему уже не хотелось разглагольствовать, но что-то подсказывало, что разговор, если он начнётся, может завершиться необычным образом.

— Книги, — сказал он, — это жалкое отражение громадного мира, о котором мало кто подозревает. Дело не в том, читают их

или нет. Всё равно читатели не получают того, что я хотел им дать. Я не умею давать. Я не хочу пересказывать то, что я сам пережил, я хочу увести людей за собой открыть невидимую границу, которая отгораживает наш мир от того, где я иногда бываю. Сказать честно, я сам-то бываю там как-то не полностью, одними глазами, что ли… А вот телом уйти туда и остаться не получается… Как я могу что-то требовать от читателя, когда сам не умею? Книги всегда искусственны, потому что тот мир невозможно воспроизвести на бумаге. Но он есть. Мне бы хотелось увести вас туда. Он совсем рядом. Но даже если бы мне удалось каким-то чудом провести вас через барьер, откуда мне знать, что вам придётся по душе то, что вы увидите? Ведь тот мир может напугать вас. Очень даже вероятно, что большая часть людей просто спятила бы, оживи мои книги. Кто знает? У меня даже складывается чувство, что мой мир нужен только мне одному. Возможно, есть ещё два-три чудака, которые свихнулись на одной волне со мной. Кто знает…

Ни Павел, ни Рудик не ответили. Они громко выдохнули теснившийся в них воздух и почти одновременно наполнили свои стаканы. Так же молча они осушили их и вновь уставились на Кадолу.

— Что пялитесь? Я не голая баба.

— Я всё понял, — гаркнул Павел и хлопнул ладонью по столу. Множество наставленных рюмочек и стаканов звонко подпрыгнули. — Я думаю, что Папа тоже понял. Мы должны идти туда. Мы готовы.

— Позволь спросить, к чему именно вы готовы? — Кадола невозмутимо перевёл взгляд с одного приятеля на другого. Рудик хлопал ресницами и утомлённо зевал, пытаясь скрыть растягивающийся рот ладонью.

— Мы готовы шагать через твою границу. Мы вполне загрузились и можем смело двигать к тебе в мир. Не оставлять же нам тебя одного. Я тебе говорил, что не привык бросать друзей в несчастье, — Павел поднялся и громко икнул. Разбилась рюмка. Павел шаркнул ногой, отбрасывая осколки, задел стул, тот с грохотом рухнул на пол. — Вот ведь дьявол! Матрас! Мы срочно уезжаем, прощай! Дай нам только с собой пару бутылочек пива.

Кадола опустил голову и тихонько затрясся в беззвучном смехе.

***

Дождь хлестал.

— У меня в голове поселился чёрный квадрат, и он таращится на вас квадратными глазищами. Я, братцы, отныне вовсе вам не Паша, я отныне Каземир! Вот взгляните мне в глаза. Что вы, пьяные рожи, там видите? — Павел вытянул шею и подставил товарищам лицо для обозрения.

— Ничего не видим, — промямлил усталый Рудик, — у тебя глаза закрыты.

— Так откройте их мне, козлы! У вас не мозги, а макароны варёные. Воображение равно нулю… А ещё писатели… Другу в глаза посмотреть не способны, — Павел оступился, и ноги его спутались меж собой, как верёвки. — Сейчас вот мой чёрный квадрат стошнит на вас за это… Будете знать…

Он не договорил и обмяк. Безвольно из него выпустился воздух.

— Господи, образумь его душу, — проговорил Рудик.

Павел тяжело повернул непослушную голову и разлепил один глаз. При этом губы его собрались в трубочку и попытались присвистнуть. Пьяный глаз неуверенно подмигнул, но сделал это лишь наполовину: веко опустилось, а подняться не смогло.

— Папа… — укоризненно выдавил из себя Павел и умолк.

— Бедняга, — посочувствовал добрый Рудик и напрягся, дабы не уронить обмякшего окончательно приятеля. Кадола поддерживал его с другой стороны и старался не вылезать из-под зонта, но это плохо у него получалось.

— Слушай, — выпрямился вдруг Кадола и непонимающе огляделся, — а тебе не кажется, что дождь как бы уже не идёт?

Рудик вытаращил глаза и уставился перед собой. Дождь не шёл. То есть казалось, что он продолжал лить, что он не прекращался, но на самом деле воздух был наполнен беззвучным миражом ливня.

— Словно кто-то кино показывает, правда? — Кадола опустил зонт и поднял лицо к чёрному небу. — Папа, дождя нет. Нам только мерещится вода, когда на деле воздух совершенно чист. Или я ни фига не понимаю в дожде.

— Пить надо меньше, — донеслось из-под низко склонённой

головы Павла.

— Дрыхни, алкаш, дрыхни, — Кадола сощурил глаза и вновь повертел головой. — Но ощущение такое, что я вижу дождь.

— И я вижу, — согласился Рудик. — А это не горячка у нас? Впрочем, если белая горячка, то у Паши. Но он не видит вообще ничего, поэтому её видим за него мы (его верные друзья) … И всё-таки дождь был наяву, потому что мы промокли насквозь.

— Слушай, Папа, а куда мы припёрлись? Что это за место? — Кадола дёрнул щекой и неожиданно выронил разомлевшего Павла. Тот весь смялся на земле, чуть было не утянув за собой Рудика.

— Боже, — Рудик растерянно ощупал рукой под собой и обнаружил траву, — а где же город? Куда мы пришли, что тут даже приличной дороги не проложили?

— И я про то же, старик. Ты на дома взгляни, на окна. Они ведь точно, как этот дождь, вроде бы есть, но их нет. Прозрачные. Настоящие миражи. Призраки.

— Нечистая попутала, — зашептал торопливо Рудик.

Павел издал внезапный, похожий на выстрел, короткий храп и затих, поджав колени. Кадола присел возле него на корточки и легонько похлопал по нему ладонью, как обычно успокаивают волнующегося щенка.

— Папа, ведь ни домов, ни улицы, ни площади нет…

Воздух лениво насыщался туманом. Кажущийся дождь полностью исчез, но многоэтажные громадные стены в тысячи светящихся окон всё ещё виднелись, хотя сделались окончательно прозрачными. Через окна проглядывались другие огни, которые не могли быть освещёнными комнатами, потому что они казались живыми, совершенно самостоятельными, как роящиеся светлячки.

— Приплыли.

— Куда? — едва слышно спросил Рудик, и по его голосу Кадола понял, что приятеля охватила сильная дрожь.

Кадола не ответил. Он чувствовал, как похолодели кончики его пальцев. Не отрывая глаз от шевелящихся далёких огней, он сильно стукнул спящего Павла.

— Засунь свою белую горячку себе в задницу, — прошипел Кадола, но Паша только брыкнул ногой, за что тут же получил звонкую оплеуху. Выражение его лица не различалось в темноте,

но белки разлепившихся глаз слегка блеснули, и Кадола загудел ему в самое ухо. — Эй, кобель нализавшийся, взбодрись немедленно. У нас массовый психоз из-за давешней попойки. Ну-ка вскарабкайся на четвереньки немедленно. Ты способен смотреть или как? Что ты видишь?

Павел сделал отчаянное усилие и сел.

— Огоньки… — произнёс он и после этого слова смолк. Его подбородок улёгся на грудь.

— Господи! — вскрикнул Рудик, когда окна домов окончательно пропали. Теперь вокруг лежала утонувшая в безлунной ночи неизвестная местность, в чёрной глубине которой копошилось множество огоньков.

— Это факелы, — сообщил изменившимся голосом Кадола.

— Что? — оторопел Рудик. — Но откуда? Силы небесные, смилуйтесь. Это что же такое происходит?.. Это, Кадола, за грехи нам наказание послано.

Сухой ночной воздух мягко качнулся тёплым ветром и окатил растерянных людей звуком песни.

— Жеребец, вставай. Трогаем, — принялся расталкивать Павла Кадола.

— Куда? — забеспокоился Рудик.

— Выбор у нас не слишком богатый, — процедил сквозь зубы Кадола, — я лично иду к тем кострам. А вы, если желаете, можете топать в другую сторону.

— Я с тобой.

— Тогда подхватывай под локоток дружка нашего и потащим его навстречу судьбе, — Кадола крякнул и перебросил одну руку отяжелевшего Павла через свою шею.

Плавающие огни факелов медленно приближались, пространство наполнялось льющейся песней и отдельными голосами.

Один раз Рудик упал, оступившись, и наткнулся на что-то мягкое и мокрое. Трясущимися руками он ощупал предмет и к ужасу своему понял, что это человек. Он лежал неподвижно, уткнув лицо в землю. В спине его застряло что-то твёрдое.

— Кадола, — затрясся Рудик, — тут, по-моему, мертвец.

— Оставь, — отрезал тот, — всё равно темно, не разглядеть ни

хрена. Поднимайся быстрее. Надо двигать дальше.

Рудик торопливо обхватил спящего Павла за пояс. Сердце его колотилось горячим комочком у самого горла. Ощущение животного страха подкралось к спине

и до покрытого мурашками затылка. То и дело Рудик слышал собственный шёпот, в котором угадывались отдельные слова молитвы.

— Заткнись, Пап, — нервно рявкнул Кадола и сильно тряхнул Павла, пытаясь привести его в себя, — да проснись же ты!

Тот лишь промычал в ответ. По голосу было ясно, что настроение у Паши хорошее, жизнь, вероятно, виделась ему чудесной. Тогда Кадола высвободил одну руку и сильно сунул локтем Павлу в живот.

— Оп-па! — неожиданно воскликнул на это Павел и вдруг запел, далеко запрокинув голову. — Любимая, прошу тебя-а-а! Ну-у стань моей-ю-ю!

Закончить серенаду ему не удалось, потому что двое друзей одновременно бросились на него и в четыре руки заткнули ему рот. Через несколько секунд Павел забился под ними. Донеслись сдавленные звуки. И в то же мгновение Рудик взвыл и отпрыгнул, потому что Павел больно укусил его за палец, желая освободиться от многорукого кляпа. Кадола наугад опустил кулак и понял по чмокнувшему звуку, что попал Павлу в растопыренные губы.

— Какого… — громко запротестовал было поверженный, но верный друг вторым ударом заставил его умолкнуть.

Рядышком в траве тихонько скулил Рудик. Почему-то он хорошо виднелся на чёрном бархате ночи. Потом за его спиной возникло сияние, и Кадола понял, что это светил факел. Рудик мгновенно стих и затравленно обернулся.

В двух шагах от него остановился невысокий человек. Он не был карликом, но отличался очень малым ростом. Он едва достигал плеча среднему человеку. Подняв над головой факел, он разглядывал незнакомцев, которые были заняты странным делом на земле.

— Чужаки, — сделал он заключение после беглого осмотра.

Павел икнул в ответ и устало отмахнулся. Рудик потихоньку подполз ближе к друзьям.

— Кто вы? — спросил Кадола.

Человек с факелом сделал несколько уверенных шагов и остановился перед растянувшимся на земле Павлом. Он придвинулся почти вплотную к похрапывающей фигуре и долго разглядывал что-то. В мерцающем свете проявлялось его лицо, пересечённое широким рубцом. Кожаная одежда мягко шуршала, слышался скрип многочисленных ремешков с разными ножами.

— Ваш друг пил, — произнёс человек, и в его голосе прозвучало удивление.

— Должен признаться, — робко заговорил Рудик, — что мы все в некотором роде пригубили винца. Но не судите строго. Мы не ради греха принимаем отраву эту, а от слабости душевной…

Рудик сильно дрожал и, не зная, куда деть руки, по-матерински оглаживал спящего Павла. Кадола не спускал глаз с маленького человека и чего-то ждал. Дрожащий огонь делал шрам на лице человека похожим на живую змейку.

— Вы не парши, — сказал человек со шрамом, — но вы пьёте вино. Это странно. Только парши пьют вино.

Кадола почувствовал, как сердце забарабанило у него в груди.

— Вы… руты? — вдруг выпалил он.

— Да, — последовал ответ.

— Но ведь это невозможно! — Кадола огляделся. — Или… Неужели правда?

— Правда. Мы — руты, — подтвердил маленький человек.

Кадола посмотрел на двигающиеся огни. В наступившем молчании слышалась красивая песня.

— А там ваш лагерь?

— Да.

— Праздник?

— Праздник Прощания, — проговорил человек и удивился внезапно разыгравшимся на лице Кадолы чувствам. Это была радость, болезненная радость, счастье, замешанное на бесконечном и безнадёжном ожидании, которое внезапно исполнилось и наполнило душу слезами.

— Праздник Прощания, — повторил Кадола и зажмурился, — невероятно. И всё же это так.

Рудик совсем потерялся, уставился на товарища. Кадола

протянул руку маленькому человеку и сказал:

— Мы идём к вам в деревню. Веди нас, Хранитель.

По дороге Рудик пытался расспросить негромким голосом Кадолу, откуда тому известно имя человека со шрамом, кто такие руты и так далее. Но Кадола отмахивался и шагал молча, подгоняя пинками спавшего на ходу Павла. Маленький человек шёл впереди и не оглядывался. Он быстро привёл странную троицу в деревню рутов, над которой стелилась удивительная песня.

— Танцульки, — ахнул Павел, продрав опухшие глаза. Перед ним шевелилось море факелов и ритмично передвигавшихся людей.

— Гуляем, мужики, — забормотал он. — Тут всё в ажуре… Музыка… А вы, сволочи, по морде меня… Хранитель провёл их сквозь массу танцующих рутов. Маленькие человечки не обратили на пришедших никакого внимания. Они, казалось, все до одного были погружены в транс. Многие пели, и песня была неподражаемой. Она не просто звучала, но визуально прорисовывалась в густом чёрном небе. Она скручивалась в причудливые гуттаперчевые фигуры, разливалась под звёздами, сплеталась широкими лентами голосов и рассыпалась искристыми крошками, которые растворялись и внезапно вновь возникали сверкающей пеной. Многие руты пели, но некоторые танцевали молча. Впрочем, это трудно было назвать танцем в прямом смысле слова. Они раскачивались, кое-кто крутился на месте, кто-то притопывал ногами, вернее, приподнимал их, словно зависая в воздухе, и опять ставил на землю. Встречались фигуры, которые шевелили поднятыми вверх руками, и руки плавали, подобно водорослям, словно в них не было костей.

— Что это они все? — перепуганно дёрнул Рудик Кадолу за рукав. — Они все безумные…

— И вот пришёл последний день жизни, когда люди собрались вместе и растаяли в пении гимнов. Жёлтые извивы огней озарили уютную долину, и мрак рассеялся над деревней. Плавно двигались тела танцующих, а об их ноги тёрлись ласковые пантеры… Да, Папа, всё так и есть. Ведь ты тоже это видишь, — улыбнулся Кадола и указал рукой в глубину танцующих.

Гибкое кошачье тело скользило между рутов. Животное мягко ступало в толпе и почёсывалось мордой о бёдра маленьких людей.

Это была пантера, тягучая чёрная тень с жёлтыми глазами.

— Кадола, — Рудик вцепился в руку товарища.

— Это добрая кошка, Папа. Тут много таких, — Кадола похлопал успокаивающе друга по плечу и поспешил за Хранителем. Последним брёл Павел и таращился на рутов.

— Отдыхайте, — кивнул Хранитель на избу и мгновенно пропал в шевелящейся массе людей.

Друзья остались одни, если так можно говорить, когда повсюду пели маленькие люди и превращали свою песню в акварельные сияния на высоком звездном небе.

— Теперь можно спокойно смотреть, — сказал Кадола товарищам. — Можете спокойно любоваться на это чудо. Вы никогда такого не видели и не увидите снова.

— Агау-у, — пропел Павел и сполз по стене на пол, и последнее «у» органично перешло в храп.

— Слушай, Кадола, — приблизился Рудик и просительно поднял глаза. — Ты там… читал какие-то строки… они очень соответствуют этому балагану… Ты что-нибудь знаешь про этих людей? Кто они? Что ты цитировал?

— Книгу. Мою книгу.

— А! Так ты знаком с ними?

— Я знаком… Ты лучше послушай песню. Ты знаешь, я когда написал, что песня Праздника Прощания сказочна, я не представлял, что она такая. Я знал, какая она, но не до конца. Писатель никогда не знает всего до конца, какие-то тонкости остаются за полями. Что-то всегда не договаривается. Я никогда не задумывался над этим. Мне известно всё, что происходит в пределах написанного мной. Но ведь их жизнь никогда не ограничивается страницами моей книги. Они живут шире. Это всё равно как увидеть человека в кабаке и решить, что вся его жизнь перед тобой, пока он сидит на стуле и чешет языком у тебя на глазах. Но ведь ты уходишь, а у него продолжается своя жизнь, которую ты не видишь, даже если он тебе много рассказал о себе.

— Кадола, подожди. Не торопись. Я не пойму, о чём ты говоришь. При чём тут твоя книга? Кто такие руты? Когда ты написал про них книгу?

— Это не имеет отношения к делу, когда… И не *про них* написал,

я *их написал*, понимаешь, Папа?

— Понимаю. Белая горячка.

— Дурак, — огрызнулся Кадола. — Вникни ты в суть, монах ордена недоверия. Это моя книга ожила!

— Кадола, дорогой, давай-ка лучше поспим. Мне этот сон уже сильно надоел. Сейчас мы заснём, и сон сразу уйдёт, ладно? — Рудик безнадёжно оглянулся на распахнутую дверь, за которой виднелись факелы.

— Папа, послушай внимательно, что я тебе скажу… Это вовсе не так просто, как ты полагаешь. Это никуда не денется, если уснуть. Попроси Бога о помощи. И пусть Он тебе про меня расскажет, может, тогда поверишь…

Кадола прошёлся большими шагами по комнате и вернулся к Рудику.

— Я сам не понимаю кое-чего в себе, Папа. Но это не касается того, что случилось со всеми нами… Или касается? Я никогда не рассказывал никому о моей молодости. Никто из моих нынешних друзей не знает, что в своё время я был наёмником, солдатом фортуны. Но те годы исчезли… Я не отрезал их, но их нет. Однако с ними связана вся моя прошлая жизнь… Дело в том, что когда мне было двадцать лет, я подписал контракт на год и стал участником одной карательной экспедиции в Африке. Только не подумай, что я хочу покаяться. Нет. Мне не стыдно ни за один день моей жизни, даже за самый грязный. Я не считаю, что чёрные дни следует выбрасывать из своей биографии. Наоборот: их следует держать в себе, потому что это твоя жизнь, это ступени, по которым ты поднимался вверх или спускался вниз. Их надо знать. Они ценны, уникальны, потому что они — твои… Так вот, отправился я карателем. Я к тому моменту уже достаточно дерьма наглотался, возненавидел весь свет и был рад не столько заработку (не подумай, что это лёгкие деньги), сколько возможности официально выплеснуть накопившуюся во мне злость на весь мир. Главное было — стрелять, уничтожать, видеть кровь и чужую боль. Для меня не осталось людей, достойных любви. Всякий человек сделался объектом ненависти, хотя в детстве я был другим. Меня тошнило, когда я познал женщину, потому что это показалось гадким… Ну, значит, отправился я стрелять. Джунгли, болота, пороховая вонь —

это стало мне таким родным, что я решил было совсем посвятить себя данному ремеслу. Мне на самом деле становилось легче, когда на моих глазах погибали от моих рук люди. Когда я осознал, что малейшее движение моего пальца на спусковом крючке заставляет человеческое тело дрыгаться и лопаться, брызгая кровью, я успокоился. Было то, чего я хотел. Я ненавидел людей, я нашёл способ ублажить собственную ненависть. Мне не хотелось снимать с себя пятнистую униформу. Но я ничего из тех времён не перенёс на бумагу. Пишу о другом. Создаю иной мир… Но однажды моя военная жизнь изменилась… Мы тогда зачищали одно ущелье. Устали за три дня, бродили голодные, грязные, вонючие. Сбились с пути. Партизаны здорово нас покровавили. Из пятнадцати человек нас осталось шестеро. Мы выбрались в долину и наткнулись на деревню. Деревенька так себе, запущенная, стёкла битые, стены кривые, дорога вся в ямах. Мы ввалились туда, как говорится, под барабанный бой. Лупим из всех стволов во все стороны. Стены домов (солома с глиной) в пыль разлетаются. Поросята визжат, женщины орут. Только мы поджигать стали, как пошёл дождь. С тех пор меня преследует дождь… Земля потекла под ногами, стоять не было сил. Вода заполнила деревню по колено. И вдруг тишина. Над головой синее небо и три облачка пасутся, как овечки. Три белых пятнышка на голубом полотне. И под ногами то же самое отражается. Шагнуть стало страшно. Стою и шевельнуться боюсь, кажется, что сделаю шаг и провалюсь в небо. На несколько минут совершенно растерялся. А впереди стоит дом. Не такой, как все хижины, где черномазые живут, а крепкий такой дом (там контора какая-то находилась) из кирпича. Я стою неподвижно. Вокруг гудят мухи, вода капает где-то. А я посреди мира завис, посреди воды и неба, которые уже не отличались друг от друга… Смотрю вниз и вижу собственные глаза под ногами. Моё лицо на меня снизу смотрит. Или сверху вниз… И вдруг слышу, как бежит кто-то. Поднимаю голову и вижу парнишку в цветастой майке. Коричневые ноги и руки мелькают, несётся во всю прыть к тому кирпичному дому, а из-под ног вода хлещет. И бежит он так, что вот-вот в облако наступит своей грязной пяткой. Я поднял автомат и полоснул, вспарывая водную гладь. Африканец упал, ноги его вскинулись и согнулись, как сломанная шоколадка. Я достал для проверки

«магазин», а там один патрон остался… Вокруг висит тишина… Куда все мои подевались? То ли притаились, то ли положили их всех… В тишине слышится громкий скрип, открывается в том доме дверь, куда парнишка-негритос спешил. Появляется человек. Белый человек. В руках держит винтовку. Откуда там белый, да еще вооружённый? Я ему кричу, чтобы он бросил своё ружьишко, а он неторопливо поднимает и целит в меня. Я ту же вскидываю автомат и беру идиота на прицел. Успеваю разглядеть, что он в светлой одежде, пиджачок, рубашечка, галстук. Даже лицо увидел его, хорошее лицо, аккуратное… Я ему прямо в лицо и пустил пулю, последнюю мою пулю. И тут что-то произошло. Я увидел, как он дернулся, взмахнул руками, схватился за голову. И мне стало больно. Он не стрелял, я точно знаю, что он не успел выстрелить, но мне стало больно в голове, будто моя пуля попала в меня. Может, он передал мне свои чувства? Я упал, у меня пошла кровь… И я умер… вернее, потерял сознание… Разумеется, мои парни подобрали меня, доволокли до нашей базы. Но в памяти моей осталось, кроме того человека, и другая фигура — моя собственная. Я видел себя со стороны глазами того, которого я убил… Я вскидываю автомат и стреляю… И умираю… После того случая я оставил службу… Что-то сильно изменилось во мне. В меня будто кто-то память свою вживил. Нужно было девать куда-то эту память. И я начал излагать её на бумагу. Так и появился писатель по имени Кадола.

Рудик внимательно смотрел на приятеля.

— Ты не сочинил это?

— Нет, Папа, но я сочинил всё остальное. И этот мир, где мы сейчас находимся, написан мною. Я знаю о нём всё.

— Ребятушки, — простонал Павел и поднял голову. — Мне, похоже, кто-то в задницу вставил палку, и она проникла в самые мозги. Да ещё расковыряла там дырку, через которую всё утекло, и теперь я ничего не помню.

— То есть ты теперь не чёрный квадрат?

— Какой квадрат?… Я треугольник без углов, мужики. Голова моя превратилась в резиновую грушу, по которой лупят кулаками. — Павел упёрся руками в шершавый подоконник и высунул голову наружу. — Что у вас тут за карнавал? Ох, как голову

ломит, парни… Вот бы в такой момент чудо произошло. Сошла бы с курчавого облака чудненькая стройненькая фея с оливковыми глазами, притронулась бы к моей голове волшебной палочкой и сняла бы всю боль… Парни, а что такое происходит? Концерт, что ли, какой? Танцы, факелы. Почему-то мне кажется, что я уже где-то видел это вчера. Вон и голые какие-то ходят. А вот в куртках крутятся. Ой, а девицы-то какие фигуристые! Тут обязательно должна быть выпивка…

— Тебе и без того плохо.

— Да, мне плохо. Только, судя по вашим лицам, дело не во мне, — Павел с трудом поднял брови и изобразил на помятом лице неудовольствие, — дело, как я понимаю, не во мне. Я ничего не совершил, стёкол не бил, драк не учинял…

— А губа у тебя разбита…

— Это вы меня мутузили, мистер Шпенглер, я помню вашу рожу в тот момент. Откуда у писателей столько силы? А что вы так смотрите? Не то умных из себя строите, не то идиотов… Ой, вы посморите-ка скорее в окно! Какая женщина там стоит. А волосы! Смола, а не волосы. Мне бы сейчас бутылочку шампанского, так я подкатил бы к ней. Только мордашка у неё не весёлая. Что ж ты потупилась в смущении? Так, что ли, поэты говорят?

— Паш, — приблизился к нему Кадола и положил ему руку на плечо. Прикосновение таило в себе нечто такое, что заставило Павла замолчать. Он настороженно обернулся. Странно ощущалась рука. Кадола то ли кивнул, то ли отрицательно покачал головой. И голос его показался Павлу на удивление неожиданным, почти незнакомым, словно проскальзывало в его интонациях скрытое счастливое потрясение. — Паш, утихомирь немного свой пыл. Сейчас у тебя голова либо перестанет болеть, либо вовсе отвалится. Послушай меня. И ты, Папа, тоже послушай… Кому-то легче, кому-то труднее, один уже трезвый, другой еще нет… Человек верит в невероятное, если он слышит о нем от кого-то, если воспринимает это в качестве небылицы. Реальность, если она невероятна, сводит человека с ума, доказывая, что на деле он ни во что не верил. Увидеть, как на твоих глазах кто-то взлетает без всяких крыльев, можно, но это труднее, чем поверить в такое же во время сна… Мы попали в другой мир. Вы по пьяному делу согласились в него

прийти, кричали, посуду били, что верите мне, и вера ваша материализовалась. Вы там, где никто не был никогда. Вы, два осла, никогда не принимали меня всерьёз. Я был вашим приятелем, но вы не думали о том, что я пишу. Для вас любое моё сочинение оставалось простым словоблудием. Теперь же вы попались. Вы во мне. Я вас проглотил в тот самый момент, когда вы согласились, на долю секунды согласились… И это произошло. Так случается, когда человек со смехом, без всякого серьёзного намерения, заявляет, что отдаст душу дьяволу, а тот пользуется таким моментом и захватывает душу.

Павел вытаращил мутные глаза и протянул вперёд руку, на которой дрожал указательный палец с обгрызенным ногтем. Ноготь, продлившись невидимой линией, уткнулся в центр головы говорившего Кадолы, изогнулся вопросительным знаком и растянул на лице Кадолы очередную непонятную улыбку.

— Вы, конечно, в праве не верить, как и прежде. Но от этого ничто не изменится. Ситуация поменялась. Я могу наплевать на вас. Поступайте, как желаете. Я-то в любом случае остаюсь здесь. А вы? Вы желаете уйти, так ведь?

— Хоть сейчас.

— Так уходите, — Кадола вновь скривил губы, — уходите. Это мой мир. Я его придумал, мне в нём жить и умирать. Ваше дело было убедиться, что всё, о чём я пишу, есть правда. Вы убедились, теперь можете уматывать. В ближайшее время, поверьте создателю, здесь будет настоящий ад. Погибнут все. Самый малый отправится на смерть, чтобы не потерять свободу, не потерять жизнь, оказаться за пределами цепей, которые несут с собой парши. Вы, конечно, можете взглянуть на завтрашнюю битву, но вряд ли она вам доставит приятные минуты.

— Как ты можешь знать, что мы увидим? — с ужасом спросил Рудик. — Это знает только Господь.

— Так я и есть своего рода Господь в этом мире. Это моё творение. Меня сотворил Бог, а я породил всех этих людей, все эти события… Рудик, милый, неужели ты не понимаешь этого? Я тебе говорю, что здесь будет Прощание. Руты погибнут. Они уйдут. Их не станет. Руты не признают смерть, потому что я так придумал. Они схватятся с паршами, но здесь даже крови не будет, когда руты

станут погибать. Я придумал им не смерть, а уход. Здесь не будет смерти, и парши останутся в дураках, потому что они, как и ты, верят в смерть. Они ждут смерти. И сейчас руты поют Песнь Прощания, Песнь Истины и Добра…

— Как можешь ты, — внезапно вспылил Рудик, скрутив брови в строгие пружины, — как смеешь ты говорить о добре, когда привёл нас в кошмар? «Как можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из другого сокровища выносит доброе, а злой из злого выносит зло». И не смей по этой причине произносить слова, о коих ты понятия не имеешь! — совсем уже громко закричал Рудик.

— Уходите, братцы, время не ждёт. Мне надоело убеждать вас в чём-либо. Если хотите, то считайте, что вам всё снится. Вы вернётесь назад, потому что вы тут случайно оказались. Для вас это лишь сон. Он останется сном. Ступайте, выпейте за покой моей души в нашем «Сідалище», — подтолкнул их Кадола.

— Старик, — медленно пошевелил губами Павел, — ты либо спятил, либо я очень пьян и ничего не понимаю.

— А за окном тоже спятили? Посмотри! Они прощаются друг с другом и празднуют свой последний день… Вы лишние здесь. Уходите теперь.

— Но как?

— Я сочинил для каждого дома тайный ход. У всех должно быть право выбора. Вот люк, куда вы должны уйти. Вы пройдете по нему за поселения рутов, выберетесь наружу, затем доберетесь до подземных проходов, которые скрыты под чёрными глыбами крепости паршей. Те коридоры приведут вас в наш, то есть ваш мир… Идите и ни о чём не жалейте. Вы увидели людей, которых нет. Можете считать себя избранными… Будьте счастливы, — Кадола распахнул внезапно тяжёлый дубовый люк и ловко столкнул в него своих приятелей. Снизу ударил запах плесени и лягушек. И крышка опустилась над лазом с грохотом и скрипом.

Провалившись в темноту, Рудик и Паша потеряли друг друга. Слышался стук капель и напряжённое дыхание.

— Кретин! — не выдержал Павел. — Бумагомаратель! Трепло сочинительское!

— Паша, я очень прошу тебя, — взмолился невидимый Рудик

и нащупал локоть Павла, — не шуми… Страшно до невозможности.

— Ну и заткни свою невозможность в задницу, — огрызнулся тот, — тоже мне тайный советник. Посоветовал бы, куда нам ползти… Ну, писатель, накрутил ты на наши головы.

Оба замолчали и прислушались к шуршанию над головой.

— Ладно, плевал я на этих коротышек. Коли Кадола продался им с потрохами, так махнем на него рукой. Пусть пропадает… А я ведь голову готов положить под топор, что он среди них карликовую русалочку присмотрел себе. Что ты фыркаешь? Может быть, ты считаешь, что поэты из ничего черпают вдохновение? Шиш тебе с майонезом. На те же женские ноги, что и мы, пялят они глаза, туда же поцеловать бабу хотят, куда и мы, простые и бескрылые. И между прочим, ту же колбасу жрут и водку. Как пить дать, выдумал в своей книге наш Бредбери очаровательную коротышечку с неописуемыми формами и остался с ней. Писатель писателем, а пистон свой мужицкий наготове держит для подруги…

— Зачем ты так о нём?

От стены отскочила тяжёлая капля воды и шлёпнула Павла по носу.

— Впрочем, — шмыгнул он носом, — всё может быть и не так… Ты ведь тоже видел, как у них там песня на небе в узлы стягивается… Сколько же он сочинял всё это? Ведь он и вправду может сочинить женщину, у которой от женщины только внешнее. Ты помнишь, Папа, как он говорил однажды, что мечтает повстречать женщину, которая лишена всего того, от чего кобели слюни пускают. Помню, он сказал, что придумал такую героиню, у которой нет ничего между ног. Представляешь себе: женщина, но не женщина! Чёрт меня дери, я только сейчас уловил это, вспомнив песню на небе.

— Пойдём, — сказал Рудик и зачавкал в темноте, медленно переставляя ноги.

Павел, упираясь в стену руками, побрёл следом за чавканьем.

Позже они не смогли сказать, долго ли провели в подземелье, но когда вышли через просторный грот наружу, солнце стояло высоко в лазурном небе. Повсюду тучами летали всякие насекомые. Они стукались о лицо, руки, плечи, они гудели и, казалось, продолжали ночное пение маленьких людей-рутов.

— Знать бы, какие законы он сочинил для этого мира, — пробурчал Павел, — а то ведь покусают эти твари, потом лечись от сифилиса и доказывай жене, что не от проститутки такой подарочек.

— Мне любопытно другое, — вздохнул Рудик и обратил взор к небу. — Как там все эти человечки? Ведь Кадола сказал, что они сегодня умрут. Может быть, их всех уже нет?

Павел вытаращил глаза, потом многозначительно постучал пальцем по лбу.

— Думай, что ты говоришь, Папуля. Разве он похож на тронувшегося умом? Он просто остался со своей девочкой-недодевочкой.

— Но он уверял, что сегодня никого из этих рутов не останется. Всех убьют какие-то парши.

— Я так понимаю, что парши — это вроде колонизаторов.

— Именно. И руты падут от их руки. Не останется никого из маленького народа. Для чего же ему оставаться с ними, если их не будет, если не для того, чтобы тоже погибнуть? Только вот что: они-то не умирают, говорил Кадола. Я так понимаю, что их Бог принимает.

— Опять ты за свои штучки.

— Их Бог принимает. Но ведь Кадола не сочинил себя в этом мире. Получается, что он просто погибнет, умрёт, как обыкновенный человек. Возьмёт в руки нож (ты же видел, сколько всяких ножей у коротышек) и пойдёт прямо на паршей. А кто знает, какие они? Может, это черти, может обезьяны или обыкновенные фашисты… Всё-таки мы с тобой свиньи порядочные, Павел. Не читали никогда Кадолу нашего. Сейчас, быть может, смогли бы что-нибудь предпринять. А так…

Они брели по рассыпанным камням и отмахивались от наседавшей мошкары.

— Заткнись, что ты душу травишь? В этой психованной стране все наизнанку. Как тут знать, что делать? — Павел резко остановился и прислушался. — Стреляют? Или гром? Ох, чует моё сердце, Папа, что нам с тобой отстрелял яйца в ближайшее время. Давай, работай ногами, — Павел побежал.

Они кинулись прочь. Но прочь от чего? Они не представляли,

где они и куда им надо. Они бежали быстро, сочно потея под мышками, на спине и на лице.

Вскоре Рудик упал. Трава исколола ему лицо, и он заплакал. Мир окончательно растерял свою прелесть. Потерялся и ужас. Осталась одна усталость.

— Ну и влипли мы с тобой, Папа. Уж влипли так влипли. Детская сказка, а посреди нее два взрослых дяди торчат и разводят руками. Проклятье! Эту кашу не расхлебать. Это тебе не любовный треугольник разламывать…

До их ушей долетел слабый голос.

— Приплыли, — заключил Павел. — Теперь накроют нас. Табак дело. Пора завещание составлять.

С минуту они лежали неподвижно в траве, затем Павел решил всё же посмотреть, что поджидало их за холмом. Он разгреб густую траву и почти перед собой увидел маленького старичка. Дряхлый рут стоял на коленях и упирался руками в землю.

— Руки мои омертвели. Сила ушла, покинув меня, оставила, сделала ненужным, лишним. Сгубила. Нынче я никто. Я стал трупом и не смог с моим народом паршей встретить. Это страшит меня. Я не умер, но стал безжизненным. Для чего столько жизни дано было мне?

Старик уткнулся лицом в траву. Множество букашек сию же секунду поползло по его белой бороде на лицо ему, в нос, в рот, в глаза.

— Прими меня! Успокой, приласкай, от тяжести освободи! — пропел старик.

Букашки стремительно вырастали числом и быстро покрыли всё тело рута. Они копошились на нём, шелестели тоненькими ножками, и вскоре не стало видно старика. Живая куча насекомых копошилась в траве.

— Вот это фокус! — воскликнул подползший Рудик.

— Давай-ка мотать отсюда. Не ровён час и нас обглодают. Я на такое внимание не напрашиваюсь.

Куча букашек в этот момент загудела и вдруг взметнулась с места, будто кто-то сильно подул на неё. Чёрными песчинками поднялись насекомые в небо и рассыпались в его голубизне. Ровно колыхалась трава. Старика не было.

— Ушёл, — прошептал Рудик, — в Бога ушёл.

— Иди ты… Мошкара, что ли, эта — Бог? Хоть бы косточка осталась, а то просто исчез Ну, Кадола, ну, сочинитель…

— А что там? — показал Рудик куда-то в сторону, и Павел увидел странные чёрные глыбы, похожие на плиты заброшенного строительства. Приятели осторожно направились туда.

— Тоннель. Это не то, о чём говорил Кадола?

— У него бы спросить, — злобно оскалился Павел, — пошли. Рискнём. По сей момент удача была с нами.

Они углубились в проход. Маленькие тусклые лампочки освещали сырые стены. Тут и там виднелись толстенные ржавые цепи, опускающиеся со стен на пол. Вдоль коридора прорисовывалось множество громадных дверей. Где-то слышался тяжёлый скрип открытой двери.

— Средневековье какое-то.

— Давай войдём в эту, раз отперта. Терять уж нечего, — сказал Павел и согнулся слегка, чтобы не удариться о мощный косяк. Рудик поспешил не отстать от приятеля. Пройдя в дверь, он потянул за собой железную ручку, дверь охнула, и что-то с грохотом обрушилось с обратной стороны. Рудик толкнул дверь назад, но она не поддалась.

Павел бросил на друга испепеляющий взгляд.

— Для таких как ты, Папа, в музеях пишут, чтобы руками не трогали, — произнёс он. — Если мы тут останемся, дружочек, то ты покинешь мир первым, потому что я тебя сожру, когда проголодаюсь.

Павел зашагал вперёд, но идти пришлось недолго. Дорогу снова преградила дверь.

— Если она не откроется, то я вышибу её твоей дурной башкой, — пригрозил Павел через плечо Рудику и пнул дверь ногой. Она легко распахнулась.

— Так, — проговорил Павел, шагнув через порог.

— Что там такое?

— Готов спорить с тобой на любые деньги, Папа, что ты никогда не догадаешься в какую дыру мы попали… Это наше «Сідалище». Или это тоже мир Кадолы, который он сочинил? Если «Сідалище» со всему тутошним напитками тоже провалилось в писательское

воображение, то я, сказать честно, не очень-то огорчусь, — Павел медленно прошёл внутрь и зашагал, оглядываясь, через зал ресторанчика. Рудик заторопился следом. Когда они приблизились к стойке, толстощёкий Матрас поднял на них ленивые глаза. Он сидел за прилавком и, бросив ногу на ногу, читал книжечку в мягкой обложке.

— Матрас, привет.

— Кого я вижу! — хмыкнул бармен. — Где это вы с утра отсутствуете?

Павел и Рудик неуверенно переглянулись. «Сідалище» было привычно полупустым и тихим. За окном шумел знакомый дождь, мутно виднелись вывески, освещенные витрины. На улице купалась в воде вечная ночь.

Они находились в своем настоящем «Сідалище», в собственном городе. Сомнений быть не могло.

— Вывела, стало быть, кривая, — пробормотал Павел, а Рудик перекрестился.

— А вы откуда, мужики? Что с вами? — не понимал удивлённых взоров Матрас. — Вы словно в первый раз тут… И как это вы такие сухие под таким ливнем? И без зонтиков.

— Уметь надо, — хмыкнул Павел. — Налей-ка нам для бодрости.

Рудик обернулся на дверь, откуда они только что вышли.

— А что у тебя за той дверью, Матрас?

— Ничего. Пыль. Паутина. Я хотел там склад оборудовать, но очень ненадежное место. Постоянно что-то рушится, осыпается. Дверь там еще одна есть, но она никогда не открывалась. Завалена с обратной стороны… А что это вы вдруг заинтересовались? — Матрас наполнил две большие рюмки.

— Да мы, понимаешь, в клуб юных археологов записались. Слышали, что здесь с древних времён подземные ходы остались…

— Вы что, спятили? Какие ходы? — Матрас надул пухлые губы.

— Тогда извини, Матрасик, — улыбнулся Павел и направился к любимому столику.

Он сел на стул и вытянул ноги.

— А что ты там листал? — спросил он через весь зал.

— Да вот Кадола дал мне новую свою книжечку. «Долина Прощания» называется.

— Это про рутов? — быстро спросил Рудик. Он направлялся к столику и остановился на половине пути.

— Да, про них, про маленьких человечков. Вы тоже читали?

— Ага, — протянул Павел, — только не до конца. Чем там всё завершилось?

— Погибают все руты, то есть уходят, как они говорят. Кто в облако превращается, кто в насекомых. Никого не осталось, — виновато улыбнулся Матрас. — Я второй раз перечитываю.

Рудик сел напротив Павла и поднёс рюмку к губам.

— А Кадола не придёт сегодня? — поинтересовался Матрас. — Я поблагодарить его хотел. Не появится, что ли?

— Нет… Теперь я уверен, что не придёт — негромко сказал Павел и прислонился лбом к стеклу витрины. По стеклу сильно бежала дождевая вода, и на лице Павел шевелились тени капель и букв. Буквы были большие и мокрые. Павел отодвинулся от окна и прочитал:

— Ещиладіс.

А пробегавший в длинном прозрачном плаще дудон с большой палкой в руке остановился перед витриной и прочитал с улицы:

— Сідалище…

Его голое под целлофановым покрывалом тело изогнулось и подняло палку.

— Сідалище. То есть жопа, — гоготнул дудон. — А мы по жопе-то дубинкой вмажем!

И он размашисто стукнул палкой в плачущее стекло. Витрина лопнула, зазвенела и поперхнулась хлынувшей внутрь водой. Теперь вода была повсюду. Она пузырилась под ногами и хлестала по лицу. Она плескалась и барабанила. Тихое уютное «Сідалище» захлебывалось и шло ко дну посреди бушующего океана. Качались на волнах чашки и тарелки, плавали салфетки и зубочистки. А вода прибывала. И не было от неё спасения…

Про девочек

Жадность…

Жадность одолевает…

Ненасытность…

Ненасытность повергает в беспокойство, сводит с ума…

Глаза требуют больше и больше. Чего бы ни коснулся мой взор, во всём вижу неповторимость, во всём угадываю гений божественной кисти Главного Творца.

Чем больше любуюсь окружающим миром, тем больше хочу изящных линий, форм, изгибов, теней.

Жажда красоты, жажда наготы, жажда первозданности. Мои глаза не знают насыщения. Красоты слишком много. Она вписана в миллионы обликов. Мир соткан из красоты. То, что на первый взгляд иногда кажется уродливым, корявым, на самом деле — другая стороной прекрасного, непривычная сторона. Жизнь наполнена божественным, сама суть её чудесна.

Создавая мои картины, я отбираю у окружающего мира. Но отбирая, я не обкрадываю никого, я делюсь со всем миром, с каждым желающим. Я бесконечно щедр в моей жадности.

Вскидывая прицел моей кинокамеры, я стремлюсь сразить околдовавшую меня красоту, взять её в плен, чтобы она служила

мне. Я обязан завладеть ею, иначе она завладеет мной, поработит, сделает беспомощным. Нет ничего сильнее красоты. А она — всюду: звуки, краски, движения, мечты, воспоминания.

Я — художник, составная часть Того-Кто-Сотворил наш мир. Его радость — это моя радость. Его восторг — это мой восторг. И нет горя, нет безумства, нет серости. Есть только формы, их слияние, их превращение. Есть только бесконечная игра, есть только Творчество.

Я спешу отобрать у окружающего мира всё без остатка, чтобы завладеть этим миром, чтобы превратить его в податливую глину и сотворить новый мир — похожий на окружающий, но совсем другой на самом деле. Он выдуманный, он не настоящий, я понимаю это. Но для меня он реальнее любой реальности.

Я жаден… Краски, линии, тени — мне нужно всё.

Но как же получается, что окружающий мир, позволяя мне брать всё, ничего не теряет, а только приобретает?

Созидание — что это за таинственный процесс? Он начинается внутри меня, он составляет основу моей жизни. Другие обойдутся без моего созидания, но только не я. Без творчества меня не существует. Но моё творчество не может существовать без окружающего, чужого и враждебного для меня мира. Я подглядываю за этим миром, кишащим людьми и страстями, и вылепливаю из увиденного и услышанного то, что составляет мою суть. Таинственный и необъяснимый процесс — сотворение. Я хватаю чужое и делаю из него моё. Я прикасаюсь к другим и делаю из них себя. Я рождаю из всего этого новое и отбрасываю от себя. Оно — восхищающее меня, покуда находится во мне — становится чужим, едва покидает меня.

***

Нам было лет по шесть. Мы встретились в далёкой Индии, где зной так силён, что земля постоянно ноет и зелень приобретает коричневый оттенок…

Её звали Ирочка. Пухленькая. С косичками. Мы дружили. Дружили так, что слово «очень» ничего не сказало бы о нашей дружбе. Мы были всегда вместе. Мальчик и девочка. И вот однажды в нас пробудилось желание узнать друг друга получше. Как оно

пробудилось, никто из нас не помнит. Что послужило причиной, теперь сказать невозможно. Но как бы там ни было, закончилось наше любопытство тем, что мы стали уходить играть в тёмный шкаф. Я говорю «уходить», потому что мы были маленькие, а шкаф огромный, он для нас был как комната. Мы закрывали за собой дверь и снимали трусы.

Чем мы там занимались, остаётся для меня загадкой. Два маленьких человечка во чреве огромного шкафа. Голые. В поисках неведомого. Открывающие тайну.

Как часто и как долго это продолжалось, я не знаю, но однажды нашим непонятным играм настал конец, потому что во тьму нашего интима ворвался свет. Он вспыхнул, как вспыхивает молния в руках Зевса. Вспыхнул, озарил на несколько мгновений наш греховный уголок и погас.

Я догадался, что открылся шкаф, но не понял, как это могло произойти. Большая дверь не могла распахнуться сама по себе.

— Зачем ты открыла дверь? — спросил я Ирочку.

— Я не открывала.

Тогда я выглянул из шкафа и увидел отца. Он сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. Мы с Ирочкой, занятые собой, не слышали, как он вошёл в квартиру. А он наверняка слышал наши голоса в шкафу. Мы разговаривали громко, никого не таясь, ведь мы были одни на всём белом свете.

Распахнувшаяся дверца и присутствие моего отца в комнате почему-то не связались в моей голове в последовательную цепочку. Я так и не сообразил, что это отец заглянул в шкаф. Я вернулся к Ирочке.

— Тихо, там папа, — шепнул я.

Мы дождались, когда хлопнет входная дверь, и только тогда выбрались из нашего убежища.

Почему-то мне кажется, что это был последний раз, когда мы играли в ту непонятную игру.

Несколько дней спустя в нашей квартире собрались гости, и я услышал, как папа рассказывал о том, как он застукал меня с Ирочкой в шкафу. И вот тогда-то я понял, что за молния осветила нас, крохотных Адама и Еву, спрятавшихся в шкафу невинного познания. Взрослым было весело обсуждать детей, а мне вовсе

не до смеха было, когда я слушал их шутки. Они разговаривали о нас так, словно мы — глупость природы. А ведь мы были полноценнее этих глупых взрослых, не способных понять важность нашей жизни в тёмном шкафу, где мы на ощупь пробирались к одной из самых главных тайн бытия. Мы проводили там время в поисках истины. Мы созидали свой мир, даже не осознавая этого.

Мы повстречались вновь через много лет, мы были уже студентами. Я увидел её, совсем новую, изящную, выразительную, сидевшую за столиком в кафе. Я сразу узнал её, мы поприветствовали друг друга движением головы и улыбкой, но не заговорили. Рассматривая Иру, я невольно вспоминал наше детство, наши интимные игры. Она смотрела на меня, но в её глазах читалось смущение. Нас ведь связывало только одно — нагота наших детских игр. Детство ушло, нагота осталась, но мысли о ней изменились…

***

Мне холодно, за окном темнеет беспросветная полярная ночь, и я спешу укутаться в тёплое. Побольше тёплой одежды. Погуще. Понадёжнее. Запереться на все замки, задвинуть засовы. Ни холод, ни посторонний взгляд не должны проникнуть. Одежда — это надёжный дом. Крепость — со своими укромными уголками, с тайными ходами, с задёрнутыми или распахнутыми окнами. В этом доме можно спрятать всё. Одежда — это броня, за которой человечество прячет свои истинные формы. Одежда — это оружие, с помощью которого я завоёвываю чужое внимание и обманываю. Я одеваюсь соответственно случаю… И я соответствую… Отвратительное слово — «соответствую». Что может быть ужаснее и неестественнее, чем соответствие чьим-то выдуманным стандартам? Зачем человеку броня? Неужели с детства в нём взращивают мысль о недоверии и враждебности? Мать-Природа, что с тобой сделали Лживость и Лукавство? Твоя животворность, воспроизводящая сила, красота, божественность — всё это оболгано, обругано, опорочено. Природный облик человека упрятан подальше с глаз, и нагота стала вне закона.

Нет, я не желаю биться в ваши двери! Не хочу тратить силы на, срывая врата с петель…

Мне же нужна любовь.

Мне нужно доверие.

Доверие…

Разденьтесь, доверьтесь мне…

Мне хочется поделиться…

Поделиться тем, что я видел, слышал, чувствовал…

Жизнь понемногу заканчивается. Я, разумеется, знаю, что она бесконечна, но всё-таки она в каждом отдельном человеке очень мала.

И каждый день, каждый беглый взгляд — всё это очень важно, потому что насыщено своими красками.

Мне хочется поделиться и плохим, и хорошим, потому что на самом деле это — те разнообразные составляющие нашего бытия, которые делают его уникальным. Каждый человек неповторим в своих ощущениях. Каждый человек неповторим вообще, даже если он подражает кому-то и даже если повторяет чьи-то ошибки. Но он делает всё по-своему, и ошибки в том числе.

Мне бы хотелось поделиться собой, но я не знаю, как это сделать и кому это нужно.

Всю мою жизнь я занимался тем, что рассказывал о себе — о том, что было для меня важно, что было интересно, что было ненавистно.

Одни и те же предметы в вашей жизни и в моей. Но кто-то проходит мимо них, а кто-то застывает, удивлённый или очарованный.

Но только единицы из тех, кто остановился, рассказывали об этом, и ещё меньше людей смогли объяснить, что именно заставило их прервать свой стремительный бег и замереть.

Что-то иногда поражает в самое сердце.

Красота?

Но почему её видят не все?

***

Её звали Лида. Она любила раздеваться перед зрителями. Собирала гостей в квартире и танцевала нагишом. Обычно в комнате набивалось человек семь, а то и десять. Все приходили на клич: «Лидка зовёт к себе, будет раздеваться».

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, когда я познакомился с ней. Мы не дружили, не общались, поскольку я был старше года на два. Для того возраста это, знаете, громадная разница — два года. Но я всё-таки ходил на её выступления, ведь девочки давно пробуждали моё любопытство. Они сосуществовали со мной, мы вместе плескались в бассейне, ходили в кино, гуляли во дворе, играли в салочки, но между нами (моими приятелями и Лидой) возвышалась некая преграда, заставлявшая нас смотреть друг на друга как на инопланетян. Мы были разные. Мы были странно разные. Наша непохожесть влекла нас друг к другу.

Мы собирались у Лиды и ждали. Она убегала в соседнюю комнату и там готовилась к выступлению. Не помню, как она наряжалась, но мне кажется, что она выходила к нам не в платье, а в каких-то тряпках, в лёгких шарфах, многоцветных лоскутках. Она начинала кружиться. Не обладая природной пластикой, она и не стремилась заворожить нас танцем. Она тянула время, как это делают профессиональные стриптизёрши, чтобы подогреть наш интерес. Мне хотелось видеть её наготу, хотя ничего нового я увидеть не мог. Голая малышня часто плескалась в бассейне. Она была не женщина, а лягушонок. И всё-таки я ходил и ждал её раздетого тела.

Иногда нас начинало раздражать её долгое вращение, мы громко выражали недовольство, поторапливали её, ругались. Если она видела, что мы по-настоящему заскучали, то быстро сбрасывала с себя что-нибудь. Появлялись голые бёдра, животик, рёбра под натянутой кожей. Через некоторое время она представала перед нами во всей своей девчачьей наготе, в которой не было никакого очарования и которая не возбуждала. Тем не менее мы глазели, не отрываясь, ибо перед нами бесстыдно открывалось то, что попадало под строгий запрет со стороны взрослых. Она продолжала вертеться, иногда бегала по кругу, поднимаясь на пальчики и взмахивая руками. Лишившись всех покровов, она не пыталась закрывать себя. Ей нравилось показывать своё тельце.

Потом она кричала: «Всё! Уматывайте! Хватит с вас!»…

Мы уходили, чтобы через несколько недель опять собраться у неё в комнате и опять с затаённым дыханием наблюдать за её неуклюжим разоблачением.

Странно вспоминать об этом, потому что теперь мне представляется почти невероятным то, что устраивала Лида. Мы жили под пристальным вниманием взрослых, почти все наши игры сразу становились известны им, но про эти выступления Лиды никто не сболтнул ни разу. Мы будто находились в двух параллельных плоскостях: в одной из них мы общались с родителями и всеми прочими взрослыми, а в другой плоскости мы отдавались нашим почти преступным развлечениям и даже не таились от взрослых. Входная дверь не запиралась, родители могли войти в любую минуту, но никто не думал об опасности. А ведь застукай нас кто-нибудь, случился бы скандал. Впрочем, мог ли скандал испугать мальчишек, когда им выпадал шанс посмотреть на голую девчонку?

Мужчина порой теряет голову, глядя на постороннюю женщину, даже находясь рядом со своей женой. Сексуальное желание одурманивает, незаметно впрыскивая в нас свой сладкий яд. Мне случалось тонуть в густых потоках этого влечения. Я не сходил с ума по женщинам, но сходил с ума по их телу. Женское тело околдовывало меня. Впрочем, это колдовство срабатывало лишь в тех случаях, когда я был пьян. На трезвую голову я легко справлялся с магией женской природы, но опьяневший человек вязок и текуч, ему легко влиться в самый слабенький ручеёк чувств, и чувства сразу превращаются в бурное течение, частью которого ощущает себя пьяный ум. Выплыть из этого потока сложно, почти невозможно. Меня он поглощал целиком.

Но это всё — в будущем, когда после первого сексуального контакта женское тело перестало быть недосягаемой планетой и любовные игры стали неотъемлемой частью жизни. Как оказалось, секс вовсе не был миром взрослых. Запрет на секс был миром взрослых, но не секс. Когда впервые девушка впустила меня в своё тело, мы с ней не повзрослели, мы остались прежними. У нас всего лишь появилось ещё одно удовольствие, но не более. Мы всё так же зависели от родителей, и они всё так же, если не чаще, напоминали нам, что мы ещё дети и ничего пока не добились в жизни…

И всё же одну из запретных дверей мы отворили. Добились-таки чего-то сами. Подростками мы тянулись к этой двери, хорошо зная,

что за ней скрывается. А в детстве не знали. Детство строилось на невнятных ожиданиях. Между девочками и мальчиками громоздилась стена, возведённая взрослыми. Я никогда не боялся и не стыдился девочек, однако дети часто проявляют безжалостность в насмешках и однажды брошенная фраза, имеющая целью оскорбить, могла разрушить всё мироощущение. «Он с девчонками дружит!» — и мальчик начинал обходить девочек стороной и даже превращался в их злейшего врага. В его сердце нет и следа неприязни к ним, но так требуют обстоятельства: приятели заклюют его, поэтому он становится главным недругом девчонок. Он ершится больше других, чаще всех дёргает девочек за косички, громче всех обзывает девочек дурами и т.д.; и всё же его тянет к ним. Он хочет быть рядом с этими необъяснимыми существами. Ему непонятна эта тяга, он сопротивляется этому влечению.

Я любил девочек с детства. К тринадцати годам я мечтал о близости с ними, правда, близость не имела никаких очертаний. Максимум, что я мог представить — это поцелуй. Поцелуй в щёку был знаком. Невинный поцелуй в сомкнутые губы был неведом и невозможен. Полёт на Луну казался более воплотимой фантазией, чем поцелуй в губы. Разговоры с друзьями о том, «что делают взрослые» возникали с маниакальной регулярностью. Мы вроде бы знали, о чём говорили, но на самом деле не знали ничего. Поэтому я не мечтал о сексуальной близости с девочками. Посмотреть на голое тело — вот это с удовольствием, потому что это понятно, это как кино. Что дальше делать с этим «посмотреть» — об этом речь никогда не заходила. Экран погас, надо покинуть зал.

Чем дальше от детства, тем чаще я пытаюсь восстановить чувственность того времени. Безрезультатно. Ничего не получается. Мне не удаётся возродить картины прошлого, не то что чувственность. Впрочем, иногда мне кажется, что я слышу то, что можно назвать «запахом и вкусом» настроения: будто меня на несколько мгновений окутывает та атмосфера. Могу поклясться, что вижу тонкую кожу на ногах Лиды. Она почти прозрачная (хоть и загорелая), под ней играют эластичные мышцы бёдер и живота. Я могу разглядеть призрачную паутину голубоватых вен. Трепетная кожа, трепетная жизнь под ней. Так можно рассматривать только сквозь увеличительное стекло…

Нет, я не видел этого тогда, не мог видеть. Глядя на Лиду, я ждал лишь того момента, когда она откроет низ своего худенького тельца. Хотелось увидеть то, в чём таилось наше главное внешнее различие и чём не было ничего интересного и красивого. Хотелось просто разломать барьер, смыть краску со стекла, закрывающего нас друг от друга. Хотелось понять, почему хочется всего этого. Нагота Лиды объединяла нас — увидавших эту наготу. Смотрели многие: как мальчики, так и девочки, и нас всех связывала тайна. Нет, пожалуй, не тайна, а таинство постижения, таинство погружения в то, что считалось стыдным и недопустимым.

Читая Юрия Олешу, наткнулся на строки, схожие по настроению с тем, о чём пишу я, хотя Олеша повествует о совершенно невинной встрече во дворе, но он тоже пишет про стыд как про объединяющее начало: «Она смеялась, потому что я был мальчик, а она девочка и между нами появился стыд. Стыд был другом, а не врагом. Со стыдом было приятно быть вдвоём. Он многое рассказывал, многое делал такое, что, пожалуй, он был наиболее милым другом в те годы».

Кем выросла Лида? Родись она лет на двадцать позже, она стала бы танцевала профессиональный стриптиз. Но она жила в советское время. Куда привела её страсть обнажаться перед посторонними глазами?..

***

Мои женщины. Иногда они входят в мои воспоминания, не спрашивая моего на то дозволения, и фокусируют на себе моё внимание. Все они были чудесны, каждая одаривала своей уникальной красотой, каждая была любима, к каждой я стремился и от каждой убегал, чтобы не остаться в её колдовском мире навсегда. Но какая неприятная, немыслимая формулировка — «мои женщины». Они ведь никогда не принадлежали мне, они не могут быть моими, даже если мы провели вместе не одну ночь. А некоторые и вовсе были вымыслом, ибо я часто ждал того, чего не выразить словами, и получал не то, о чём мечтал. Частенько воображение возносило реальность на такие восхитительные высоты, где дух человеческий ничего не значит, где всё — Бог, всё — Творчество, всё — не я, но всё — во мне. А действительность

оставалась лишь крохотным клочком того, что заполняло душу…

Помню, как меня направили на кинофестиваль Лейпциг. Невероятная история. Меня зачислили сразу на второй курс ВГИКа и сразу оправили за границу. На целый месяц. Я даже не успел осознать, что со мной случилось. Загранпаспорта у меня не было, но его оформили через ректорат в считанные часы. Я понял только одно: произошёл крутой поворот, началась новая жизнь. Советский Союз накренился, рушился, опрокидывал меня в неведомое.

Лейпциг оглушил меня фильмами. Я утонул в них, захлебнулся. Такого обилия форм, стилей, проблем невозможно представить. Нескончаемый поток изображения, слов, музыки, персонажей. Сразу в нескольких кинотеатрах. И недопустимо много алкоголя. Всюду. Постоянно. И стресс — от бешеного завихрения событий, бесчисленных встреч и споров об искусстве, споров, восторгов. Каких-нибудь пару недель назад я работал фотографом в балетном училище, а теперь живу в Германии, показываю мои фильмы в бабельсбергской киношколе и купаюсь в волнах самого известного фестиваля документального кино. С прискорбием признаюсь, что водка и пиво стали в те дни моими неразлучными спутниками. Я с наслаждением начинал утро толстой немецкой сарделькой и кружкой пива, а через некоторое время полировал настроение рюмочкой водки. В моём уютном одноместном гостиничном номере на тумбочке стояла бутылка джина. Перед сном я читал «Историю иудейских войн» Иосифа Флавия и снимал напряжение минувшего дня глотком крепкого напитка.

Несмотря на ощущение внутреннего триумфа, меня давило одиночество. Приехавшие со мной товарищи были катастрофически чужими, ни с кем из них я не мог поговорить по душам или хотя бы просто поделиться впечатлениями. Пьяный трёп не в счёт. Опьянение льёт слова в пустоту. Собеседника нет. Есть фантомы. Нить беседы никогда не сплетается, каждый пускает свои неточные стрелы в несуществующую мишень.

Возвращаясь в отель, я всем телом ощущал потребность в присутствии женщины. Я нуждался в волшебстве женщины. Вокруг бушевало киноискусство, изредка предлагая с экрана подлинное чудо, но мне хотелось той магии, которая всегда оживляла меня — магии женщины, магии наготы. Эта магия

не имела ничего общего с обыденностью, с человеком, с плотью…

Однажды я увидел красавицу в коридоре. Она медленно прошла мимо меня с сигаретой в руке. Такую сцену легко увидеть в фильме Тинто Брасса, но в жизни… Женщина шла в полупрозрачном чёрном белье, плотно облегавшем её безукоризненную фигуру. Она лениво проплыла мимо меня, глядя в пустоту, то ли изображая, что погружена в глубокие думы, то ли и впрямь поглощённая размышлениями. Изящная полоска чёрных кружев очерчивала линию соприкосновения трусиков с изумительной попкой. Мне показалось, что я неприлично громко гремел ключом, отпирая дверь номера. Я был уверен, что женщина обернётся, но она продолжала свою завораживающую прогулку, попыхивая сигаретой. Я смотрел молча, не решаясь окликнуть её. Смотрел и ждал чего-то. Она не могла просто так бродить по коридору отеля. Она искала приключений. Или ждала клиента. Но мне не хотелось быть ни клиентом, ни приключением. Мне хотелось близости. Чёрт возьми, как мне хотелось этого в те бурные и, как оказалось, бессмысленные дни!

Я вошёл номер и закрыл дверь. Плеснул себе джину. Выпил. Вернулся к двери и выглянул в коридор. Незнакомка, чуть покачиваясь, стояла возле моей двери. Маленькие красивые груди, прямая шея, стройные ноги, крепкая круглая попка, чёрные туфли, чёрное шёлковое бельё! Не оставалось сомнений, что меня соблазнял дьявол. Я почти в ужасе захлопнул дверь и влил в себя ещё полстакана. Джин придал мне решимости. Сделав несколько глубоких вздохов, я решил, что готов пригласить дьявола в мой номер. Выглянул. Женщина стояла в дальнем конце коридора. Руки сложены на груди так, что левая рука поддерживала локоть правой, а правая застыла возле лица, поигрывая дымящейся сигаретой. Нет, я не мог пойти к ней через весь коридор. Лучше дождаться, когда она вернётся сюда, и заговорить с ней здесь. Но как заговорить? На каком языке обратиться к ней? На английском? И что сказать? Предложить ей джину? Значит, надо выйти с бутылкой? Я снова спрятался в комнате. Воображение услужливо рисовало круглые ягодицы и чёрные трусики. В кино всё как-то проще. В кино все друг друга понимают. Как минимум, всё понимает зритель. «Мадам, позвольте пригласить вас»… «На танец»… «На поцелуй»…

«На рюмку»… Нет, всё-таки я не был готов заговорить с ней. Однако ж очень хотелось. И я в который раз выглянул в коридор. Даже не выглянул, а выпрыгнул. Примерно так я прыгнул когда-то впервые с парашютом: зажмурился, чтобы не умереть от страха, и сиганул. Может, я и не зажмурился, выходя в коридор, но внутри всё у меня зажмурилось.

Коридор оказался пуст. Моя несостоявшаяся женщина исчезла. Дьявол обманул меня.

***

Мне было лет пять или шесть, когда я впервые нарисовал голую женщину. Творчеством это, конечно, никак не назовёшь, но кто знает, что такое творчество на самом деле и чем занимается ребёнок, водя по бумаге карандашом или красками? Кто может объяснить, что побуждает ребёнка срисовывать уже существующие в других книгах иллюстрации — срисовывать их так, что угадать смысл получившейся мазни и объяснить его родителям может только сам автор-ребёнок и никто другой.

Невозможно объяснить, чем привлекала меня обнаруженная где-то на книжной полке книга с юмористическими картинками для взрослых. Не помню, как я нашёл её, но так или иначе эта книжонка заинтересовала меня. Весёленькие рисунки, коими она была напичкана, изображали голых тётек и дядек на пляже. В чём состоял юмор, я, разумеется, не понимал. Не могу объяснить и причину, по которой я принялся старательно перерисовывать картинки в мой альбом, но раз стал делать это, значит, эти картинки заинтересовали. С моей точки зрения, ничего предосудительного я не совершал. С таким же успехом я мог копировать какие-нибудь комиксы, мне просто нравилось перерисовывать забавные картинки. Меня застал за моим творчеством отец. «Давай не будем показывать это маме, она это не одобрит», — сказал он и отобрал у меня как свою книгу, так и мой альбом. «Давай не будем показывать это маме»… Значит — тайна. Так впервые в мою жизнь шагнула тайна голого тела. «Давай не будем показывать это»… Шагнула и начала разрастаться из года в год, чтобы однажды встать между мной и обществом в виде одного из самых страшных табу.

Нагота (не менее естественная, чем дыхание) превратилась для

человечества в самое постыдное из всего возможного. Насилие и ложь, несмотря на библейские заповеди, никогда не вызывали столько сопротивления в обществе, сколько вызывает нагота. Человеческая оболочка оказалась для человечества страшнее внутреннего наполнения человека.

— С кем ты играл в воде? — спрашивает мама своего крохотного сына. — С мальчиком или девочкой?

— Не знаю, ведь мы были голые…

Эпоха детской невинности давно канула в Лету, но моя невинность никуда не делась. Сколько бы ни смотрел я на сцены обнажения и сцены секса, они остаются для меня чистыми и невинными. Наполняясь любовью, мы делаемся невинными. Но нарушая табу, мы все совершаем грех. Перерисованные смешные картинки из «неприличной» книжки положили начало моей тайной жизни в эротическом искусстве, моей попытке жить естественно в мире, не допускающем естественности.

Странная жизнь окружает нас. Правительства договариваются между собой о том, как они будут обманывать и даже убивать людей. Это не разрешено, но это считается само собой разумеющимся. Для этого разрабатываются идеологии, шлифуются религии, создаются альянсы под разными флагами и лозунгами. А вот быть естественным не разрешено. Сама природа человеческая объявлена фактически вне закона. Телевидение демонстрирует фильмы о животных, крупным планом показывая, как они совокупляются и рожают, и общество не возмущается, не протестует. Но человеческое тело, раздетое и готовое для любви, считается неприличным. Именно охваченное любовной страстью тело прячется за воротами цензуры. Нам беззастенчиво показывают кишки, обгоревшие трупы, казни — все виды убийств, все виды телесных страданий, но только не телесную любовь. Она запретна. Человек, осмеливающийся показывать секс, получает чёрную метку — порнограф.

Современное общество привыкло думать, что порнография — это изображение сексуальной жизни. И не просто изображение, а грубое, вульгарное. А если не вульгарное, но настоящее, без имитации? Вот, например, актёры играют в кино застолье, наворачивают за обе щеки с таким аппетитом, что у зрителя слюни

текут. Неприкрытая физиология. В одном из своих романов Курт Воннегут превратил потребление пищи в порнографию. А что же постельная сцена? Раньше кинокамера стыдливо отводила объектив в сторону. Позже научилась-таки смотреть на обнявшихся в кровати любовников, но всё равно со стыдом, без любви, без восторга. Секс в искусстве используют как приманку. Эротика и есть приманка. Таково её предназначение. Но приманка, так сказать, культурная, изысканная. Не просто голышом пройтись, а станцевать. Не просто трусы снять, а постепенно обнажаться, раздразнивая воображение.

Давно я пытался дать определение эротики. Не формальное (что допустимо показывать, а что должно оставаться сокрыто от взора по причинам официальной цензуры), а поэтическое определение. Хочется составить художественную формулу, но не получается. Потому что в основе эротики лежит обычная животная тяга к сексу. Это всего лишь «художественное отношение» к сексу: не кидаться друг на друга сразу, а насладиться некоторой эстетикой… Рисунок, фотография, фильм — они вылавливают отдельные мгновения этой игры с сексуальными желаниями. Херлуф Бутструп был для меня, советского мальчика, окном в мир эротики. Милые обнажённые девушки появлялись в его графических юморесках с завидной регулярностью. И как они изящны! Как веселы и точны прочерченные Битструпом карандашные линии! Женская нагота в его исполнении всегда невинна и всегда изящна. Эта нарисованная, ненастоящая, подчёркнуто-бесплотная нагота предназначена лишь для восхищения, к ней невозможно прикоснуться. Она — выдумка, как и всё искусство. Она — чудо. До сих пор мне не удалось найти определения эротики, но я точно знаю, что она должна быть лёгкой и весёлой, она должна звать к жизни, к раскованному танцу. И со всей уверенностью заявляю, что эротика должна быть невинной, то есть без похоти, тогда она и показывает подлинную наготу, подлинную красоту, подлинное чудо. Но когда наготу стыдят, приходит холод вечной мерзлоты, и люди спешат укутаться плотнее, закрыть себя, спрятаться…

Сочинительство сказок

1

Когда наступило Послесловие, он, распятый старческой неподвижностью, в последнем накатившем приступе бессильного отчаяния осознал, что подходит к концу заключительный отрезок жизни, рыхлый и вязкий, как тесто, где мягко исчезает в глубине любая брошенная вещица. Пришло время утонуть в смертельной густоте тишины. Одинокий и больной, не способный удержать даже карандаш, чтобы положить на бумагу не сказанные последние слова, он лежал на мятом постельном белье и вбирал в себя запах дряхлости бессмысленного долголетия. Глаза смотрели на перегоревший прозрачный зрачок электрической лампочки под потолком.

Послесловие было молчаливым и сумрачным, не оставляющим надежд, как истлевшая одежда на умершем в пустыне путнике, кости которого облизывает шершавым языком знойный ветер.

Зачем человеку старость, если он валится в её морщинистые руки безвольным мешком, не приобретя за жизнь ни мудрости, ни веры в Бога? Даже его склизкое, без форм и костей «я» не удержится

бок о бок с ним на смертном одре. Без света и спутника отправится он по неведомым коридорам туда, где не знающие жалости Ваятели замесят из его праха новый зародыш и вложат его в жидкую колыбель очередного материнского лона, чтобы однажды он снова появился посреди людей и, согласно незыблемым законам, ещё раз прошёл человеческий путь, постигая упущенное.

Послесловие означало приближение Тишины, и это пугало, потому что, ничего не поняв, он оставлял жизнь и погружался в Беззвучие, не зная, какие вопросы следует задавать.

Месяца за два до того, как тело его превратилось в вялую, почти бескровную куклу, он неожиданно ощутил соприкосновение своего рассудка с невидимой тканью (поэт, вероятно, назвал бы подобное состояние благословенным величием мира). Чьё-то дыхание щедро отогрело его память, и он увидел свою пёструю жизнь, словно это было гигантское свеженаписанное полотно, ещё отблёскивающее маслом на свету и густо пахнущее. Он вцепился в авторучку и принялся торопливо пересказывать увиденное. Строчки текли одна за другой. Он вспоминал и пересматривал по много раз ушедшие дни, но память не наполняла сердце пониманием. Радость, слёзы умиления и боль ложились на желтоватую бумагу; от осознания же (волшебно-спасительного) не было и следа. И мелодия жизни услышанная, но не поддержанная, улетучилась.

От выпавшей авторучки остались фиолетовые кляксы с махровыми краями.

Послесловие дописывал не он. Он лежал и шарил глазами, и перед ним из затхлого сумрака квартиры возникали страницы написанной им книги, никем не прочитанные, никому не показанные, неизвестно к кому готовые попасть. Каждая строчка, неопрятным почерком положенная на шероховатую бумажную поверхность, проползала перед ним загадкой жгучих чувств. Когда-то он жил ими, нынче они остались только словами. Белёсые глаза его читали, но землистого цвета почти безволосая голова и мятое, как вата, тело оставались безучастными.

Он родился давно…

2

Я родился давно. Говорят, мой первый крик раздался в обеденное время и был похож на кашель поперхнувшегося ребёнка. Сам я не помню. По крайней мере, время моего появления на свет не сделало меня большим любителем обильного обеда. Хотя временами меня охватывал самый настоящий жор, который можно встретить разве что в гротескном фильме. Тогда обильная слюна выделялась у меня при виде жирных капель на коричневой (где временами попадались волосики среди набухших пупырышков) корочке запечённого в духовке гуся или при виде растёкшейся кремовой лавы на пористых ломтях сочного бисквита.

День моего рождения пришёлся на зимнюю погоду, но и это не запомнилось. В моей размытой новорождённой памяти осталась непередаваемая тяжесть, граничащая с удушьем, которая навалилась и придавила меня, не осознавшего ещё собственные размеры и силу. Я наполнился ужасом, нестерпимым страхом перед действительностью, и страх такой возникал без всякого предупреждения от случая к случаю на протяжении всей жизни. Он убивал меня, и меня удивляет, что он не покончил со мной сразу.

Затем в памяти отпечаталось позорное ощущение мокрых штанов.

Солнце жгло громадные стёкла окон и наполняло духотой прогретую до предела классную комнату. Коротко остриженные затылки ослепительно отражали струи небесного светила. Под монотонное жужжание мух, временами стукавшихся о стекло, и гудение большого вентилятора под потолком что-то сосредоточенно говорила щупленькая учительница в тяжёлых очках.

Иногда слышался чей-то удручённый вздох, похожий на рассыпавшееся пыльное привидение, да поскрипывала парта под чьей-то маленькой попкой.

Желание справить нужду было для меня всегда мучением, почти пыткой. Даже в зрелом возрасте оно едва не лишало меня сил и чувств и зачастую ставило меня в самые невыгодные положения. Я покрывался крупными каплями пота, шея между ушами деревенела, а пах разрастался мешком жгучего битого льда.

А тут я ещё совсем ребёнок, беззащитная фигурка в коротеньких штанишках и беленькой рубашке, выгоревшие под горячим

азиатским солнцем брови изогнулись над виновато-испуганными голубыми глазками. Ужасно стыдно позвать сухенькую женщину с толстыми стёклами на глазах и громко попроситься в туалет. Нужно, чтобы она сама обратила на меня внимание, и я молча (как полагается в классе) тяну трясущуюся в нетерпении ручку, нет — ручонку, цыплячье крылышко, не покрывшееся пока что пёрышками. Но молчаливая просьба не всегда и не для всех бывает слышимой. Я жду. Искривляется от горячей слезы стена и спина спереди сидящего школьника…

О, где ты, великая сила внимания и чуткости? На каком кладбище душ человеческих покоится твоя тень?

Жарко лопнуло и расползлось моё тело, превращаясь в трубу, из которой на свет божий хлынули (вместе с естественной нужной) позор и отчаяние. В нависшей внезапно устрашающей тишине оглушительно раздались всплески капель, потекла по каменному полу янтарного цвета лужица, меняясь в форме и вытягиваясь в сторону окна. Распиравшая тело тяжесть прорвалась наружу и оставила внутри меня изнуряющую пустоту, прилипшую к стенкам моих пульсирующих органов. Накатились слабость и стыд…

Стыд. Как пересказать это состояние размазанного по сковородке мозга? Есть ли среди неповоротливых букв алфавита такие, из которых можно было бы сложить ощущение пространства, где ни повернуться нельзя, ни съёжиться, ни спрятать под крыло полные тяжёлых слёз глаза? Стыд… Стеклянная колба, а в ней — ты со скрюченными ручками-ножками, и глаза беспощадно смеющихся одноклассников сдвигаются вокруг, как бесчисленные ветви и листья на кронах обступающего тебя дремучего леса. Стыд буравит спину тонкими, остро заточенными спицами, когда шагаешь через двор, а позади слышится чьё-то колкое шушуканье, невнятное, но по-змеиному шипящее. И дверь, дребезжащая стеклом и расхлистанным язычком замка, это тоже стыд, потому что за дверью, куда надо шагнуть — пропасть, оскалы маленьких детских зубов, распахнувшаяся пасть целого класса, однако дверь надо открыть (чугунную, несдвигаемую), открыть тоненькой ручонкой с голубенькой бьющейся прожилкой…

Я прошёл сквозь стыд, как наказуемый солдат под кроваво

бьющими шомполами. Никому не нужный, но всеми замечаемый.

Самый маленький в классе, последний в школьном строю, белобрысый, с редкими зубами, обгрызающий ногти на испачканных чернилами пальцах. Таким я был.

Но я был ещё и нежным, жаждавшим ласки, мечтавший о сказках и любивший девочек. Любил, правда, скрытно, тайно, издалека, краем глаза, ибо не мог растоптанный общим презрением человек открыто выказывать рыцарские чувства перед будущими феями и проститутками. Я был ничтожен и крайне мал, а они, девочки…

Девочки, эти прозрачные ласковые существа в шуршащих бантах и юбочках, всегда воркующие по-матерински возле кукол и пушистых котят, они будили во мне волны невидимого сказочного водоема, где перетекают по гладким прибрежным камням уютные тени деревьев и от разлившейся тишины замирает восторженно сердце. Этому миру, а не пыльно-солнечному классу и прилежно заученным урокам принадлежали девочки, сами того не зная. Их голоса и улыбки убаюкивали, ласкали. Что-то неясное, расплывчато-акварельное излучалось девочками, из-за чего их нескладные ещё ручки и ножки, похожие на конечности зелёных кузнечиков, да тоненькие шейки, на которые посажены большие головки с ровно остриженными чёлками, приобретали вид необыкновенный. Хотелось дотронуться до их пальчиков, но было стыдно (или страшно?) даже когда требовалось водить хоровод вокруг пахучей ёлки, усыпанной серебром новогодних игрушек.

Среди них, девочек, появилась самая очаровательная, бесспорно вышедшая из той сказки моей души, где колыхались колдовские волны тихого лесного озера. Её звали Суок. Её невозможно было потрогать, как бы того ни желалось, как бы ни распирало мою костлявую грудь непонятным волнением. Я мог притронуться к белому киноэкрану, но мои пальцы в цыпках касались лишь волшебного паруса, который приносил в зрительный зал трёх толстяков, Тибула и куклу наследника Тутти по имени Суок. Её сладкая улыбка гипнотизировала меня, завораживала, когда она пела песню и жонглировала ночью кеглями возле цирковой кибитки. Но кому я мог признаться в чувстве, похожем на вкус облизанного только что леденечного петушка на палочке, и как

объяснить вкус того чувства в сердце моём, когда весь окружающий мир был совершенно непонятен и непостижим, когда я ничего не умел.

Суок, имя твоё сделалось белыми цветами в ночном саду и таким навсегда осталось в моей маленькой мальчишечьей душе.

Истекающие липким соком ананасовые ломтики, ароматные яблоки, будто облитые воском, вскрытое поперёк пуза душистое манго с торчащей из яркой мякоти громадной костью, тяжёлые гроздья чёрного винограда с застывшими каплями искристой воды — всё это казалось мне ворохом мусора, когда я вспоминал твоё лицо и мир, откуда ты явилась, милая Суок. Даже молочный шоколад, мягко разламывающийся под нажимом зубов и тающий на языке, терял свой неповторимый вкус, стоило зрительному залу погрузиться во тьму, а экрану брызнуть в меня красками диковинного мира. От макушки до пяток дрожал я, следя за сказочной девочкой, и едва не погибал от тоски, когда фильм завершался, но я (в который уже раз) оставался здесь, а не уезжал не крыше циркового фургончика, источающего недосягаемый дух счастья. Меня душили слёзы. Я оставался посреди рыкающей толпы в одиночестве, среди обтрёпанных страниц нудных учебников, среди звериных улыбок очкастых учительниц, среди раздвоенных металлических языков авторучек, похожих на лезвия ножей, среди разъярённых выкриков матери по поводу очередной двойки. Я оставался в чужом, не принимающем меня, вечно толкающемся мире, где никогда не было девочки Суок. Она могла смотреть на меня лишь через окно киноэкрана. Или не на меня вовсе, маленького и малоприметного, а на других мальчишек, более сильных и старших, которые интересовались девочками как-то иначе? Я помню, они говорили, что нужно обязательно поглядеть на девчонок в раздетом виде. Но что нужно было увидеть? Я не знал.

Вместе с другими пацанами я иногда спешил, разгребая прозрачную голубизну воды, в тот край бассейна, где полнотелая вальяжная мамаша полоскала малолетнюю голенькую дочурку. Сквозь переливы подводной тишины появлялась перед моими глазами розовая кожица с узелком пупка, покатость гладкого живота, сходившаяся уголком к тем складкам, где начинались

далеко ещё не девчачьи, а лягушачьи ножки. И ничего, что стиснуло бы дыхание, ничего от завораживающей прелести Суок в белоснежном крахмале платья…

Позже, гораздо позже попадутся на глаза нагие фигурки девочек, случайно, сквозь щёлку двери, неуловимо быстро мелькнут и ошпарят любопытный взор, не дав ничего разглядеть…

Как чудесно, что есть тайны, что всегда некоторое неведомое Нечто остаётся сокрытым от нас, давая простор мечтаниям. Однако в то время тайна ещё не успела родиться. Она где-то, конечно, была, где-то разворачивалась, чтобы однажды заслонить небосвод и залить до краёв душу трепетным нетерпением, но не тогда, не в те годы. Мир был и без того слишком непонятен. Ничтожно мало оказалось изведанным и знакомым, даже чтобы иметь какие-то секреты. Всякая глупость, на ухо прошёптанная, являлась секретом на день-два. Вот и все тайны… Мне, тонкотелому и потемневшему под раскалённым небом Азии, было ещё не до тайн. Куда важнее был прямоугольник бассейна, мерцающий на дне солнечными паутинками.

Забегаешь на трамплин, пятками по горячим каменным ступенькам шлёпая, толкаешься ногами, прыгаешь и теряешь себя всего. Птицей сквозь солнце, сквозь ветер, сквозь дождь — в любую погоду, любое время — взмываешь и паришь целую вечность. Бассейн, только что недосягаемо далёкий, внизу брезжущий прямоугольником воды, внезапно заглатывает тебя закипевшей пеной и окунает весь мир в гулкую тишину своего водного чрева. И уже не птица я вовсе, а рыба, и виляю у самого дна, чувствуя широкие гибкие плавники на рёбрах и ногах.

В такие мгновения забывалось всё. Даже не забывалось, а уходило, переставало быть. Не оставалось места и девочкам. Соскальзывал полинявшей кожей с души стыд за обмоченные штанишки, дробился осколками панический страх перед чёрной классной доской, к которой меня пришпиливали учительские протыкающие глаза. Я был свободен в полёте, никем не сдерживаем, неуловим, как выпущенная стрела, проворен и увёртлив. Это было понятно и близко. Это было моё настоящее, потому что в те мгновения я никем не был.

Но приходилось выныривать, шумно брызгая водой,

и возвращаться домой, приняв облик мальчика в коротеньких штанишках. Приходилось сидеть за столом и глотать, давясь, куски скользкого мяса в соусе. Приходилось заучивать, водя пальцем по книге, правила и слова, лишённые смысла. Приходилось быть человеком.

3

Большинство родителей, с которыми мне приходилось сталкиваться в жизни, мало чем отличались от моих. Делая из своих детей людей, они старались вылепить собственное подобие или же существо, схожее с их идеалом, который, кстати сказать, никогда не имел никакого конкретного образа. Основная масса человеческих желаний не принимает чётких форм, она подобна ощупыванию предметов в глубокой тьме, где что-то лишь угадывается под пальцами, но никогда не проявляется в едином целом. Временами нащупанное частично удовлетворяет слепцов, но далеко не всегда.

Я старался быть послушным. Правда, в большинстве случаев моего согласия никто не спрашивал. Я был одной из вещей, составлявших полный семейный набор. Кукла, которую возят с места на место, не имеет слов. И я был куклой. Меня перетаскивали из города в город, из страны в страну. Я расставался с привычными стульями и стенами, я не успевал привыкать, и мне казалось, что жизнь бывает только такой — постоянно меняющейся, лишённой скелета и конкретного облика. Должно было пройти немало лет, прежде чем я осознал, что такое для человека дом, свой дом, постоянный дом, привычный дом, обжитый и прогретый собственным дыханием. Я был лишён дома. Я представлял собой незначительную игрушку, принадлежащую взрослым людям.

Когда меня привезли в Москву, я с удивлением узнал, что этот город считается моей родиной. Вокруг все разговаривали по-русски, я мог понимать любые слова, сыпавшиеся из толпы, но почему-то это не сближало меня с людьми. Огромный город смотрел на меня равнодушно, словно меня не видя, не любя.

Жаркий серый асфальт дымился сплюнутой слюной. Чуждо и дико гремели трамваи, а гудящая повсюду русская речь вдруг

стала абсолютно ненужной. Что-то глубоко в голове не желало понимать и противилось слушать окружающий мир.

— Новенький? — брызгами дыхнул мне в лицо мальчишка, запорошённый рыжими веснушками. — Здравствуй, новенький!

И в мой живот нырнул круглый кулак, от удара которого мелко пережёванный завтрак поднялся к самому горлу. Кишащий школьниками коридор вместе со мной булькнул в шумную пучину и законопатил уши свистящим эхом. Кто-то подхватил меня под безвольные локти и поволок в класс. Отнявшиеся ноги верёвками тянулись за телом по грязному полу.

— За что его?

— Новенький…

— А… понятно…

Плюхнули за парту, отпрянули, заголосили о своём. Как сквозь мокрое стекло видел я их, размахивающих серыми рукавами школьной формы. И опять сквозь боль, калачиком сидевшую в животе, прорвался стыд. Знакомое желание зубами прогрызть пол и зарыться головой в черноту наваливалось на плечи и затылок. А тут ещё сопли потекли из носа, тягучие, зеленоватые от простуды — втягиваешь их, а они горлом идут, хлюпают, рвоту вызывают, будто это длинная мясная жила никак не проглатывается, скользит туда-сюда.

Я запомнил лицо того мальчугана. Его густо насыпанные веснушки залепили мою память, как снегопад лобовое стекло автомашины. Я боялся даже мысленно встречаться с ним, этим круглолицым коротышкой по прозвищу Мамочка. Кто окрестил его этим именем, мне не ведомо, но с того дня, едва завидев его в конце улицы или школьного коридора, я мигом сворачивал.

В Москве, этом громадном городе, не имеющем границ, где я знал только четыре-пять ближайших улиц, мне негде было скрыться от людей, как я делал в недалёком прошлом, опускаясь на дно спасительного бассейна и слушая урчащее дыхание воды. Во все стороны раскинулось мусорное пространство строек, летали мокрые взъерошенные вороны и обрывки газет, бродили мальчишки в заляпанных грязью пластиковых куртках. Каждый из них мог обернуться Мамочкой. Вид сверстников навечно поселил в глубине моего сердца неусыпный страх перед людьми и любыми

житейскими неожиданностями… Возможно, ничто конкретное меня не пугало, но я страшился вероятностей: они могли произойти вдруг, непредсказуемо, повлияв на спокойное течение событий, изменив хорошее на плохое. Тогда я не знал, что именно подразумевал я под плохими вещами. Я до сих пор не знаю. Я не умею отличить плохое от хорошего, добро от зла.

Плохим или хорошим оказалось моё пребывание в пионерском лагере, насыщенном запахом хвои и безумолкным гомоном детворы?

В первый вечер, едва стало смеркаться, я забился в кусты, подальше от спального корпуса, и разрыдался. Слёзы проедали мне щёки и глаза, а обида на родителей, вышвырнувших меня из-под своего крыла в квохчущую толпу чужих лиц, нестерпимо жгла мне сердце. Меня трясло, рыдания комьями прорывались наружу, а неподалёку, освещённые уютным жёлтым светом из окон, прогуливались перед сном вполне счастливые другие дети.

Со слезами ушла тоска по родному дому, обида на папу-маму растворилась во мраке ночи, никем не подсмотренная, и утро я встретил заново родившимся. Лагерь глубоко вдыхал прозрачный нежный воздух. Под сандалиями похрустывал жёлтенький песочек. Из подвешенных репродукторов в листве хлестала бойкая музыка. И я наравне с другими делал утреннюю зарядку, заглатывал, изголодавшись, вкуснейшую гречневую кашу, коричневую, отваренную с сахаром на молоке, и взбивал ногами прибрежную речную воду на специально отведённом для купания участке. Вместе с группой головорезов я тайно проникал в кладовку, где на высочайших стеллажах (до потолка) хранились чемоданы с приклеенными к ним фамилиями владельцев. В одном из таких чемоданов (принадлежал он безобидному мальчугану) хранилась громадная коробка с конфетами «Коровка». Пожалуй, ничего лакомее не существовало, чем тягучая начинка коричневого цвета, помещённая в хрупкую оболочку, вкусом схожую с высохшими остатками сгущённого молока на стенках опустевшей консервной банки. Мы пауками взбирались за теми конфетами, едва не падая вниз, когда нога соскальзывала, а рука судорожно ловила опору, цепляясь за первый подвернувшийся чемодан, который с грохотом рушился на пол. Затем мы вырывались с полным ртом

одурманивающей сладости из сумрачной кладовой в душистое пространство солнца и лета.

Я приехал в лагерь с двоюродным братом, который был старше меня на год, очутился, следуя за ним, в обществе более взрослых ребят, живших в ином пласту человеческих отношений, который до тех пор оставался закрыт от меня моим наивным неведением. Именно там я узнал о *Самом Главном*, что так строго охранялось от детей взрослыми. После каникул я привёз домой из лагеря знания, не до конца ещё понятные, о странных отношениях между дядями и тётями. Но всё это было лишь языком, громадным слюнявым языком, на который налипло много подробностей (слухи и сплетни) о неведомом и запретном. То не было реальной жизнью и легко уплывало из поля зрения. Тема оставалась мутной и неясной, пустой пока что чашей, куда лишь должно быть налито нечто вкусное, если не обманывали рассказы старшеклассников. Действительность же имела свой лик, хорошо знакомый и осязаемый, временами скучный, а чаще глупо хохочущий и хихикающий.

Дождь заполнял улицы пузыристой грязью. Обувь промокала, расслаивалась на самостоятельные куски и непристойно чавкала при каждом шаге. Тело мелко содрогалось от холода (как непривычен мне был такой холод после изнуряющего солнца Азии) и голода, который не переставал терзать желудок на протяжении нудных классных уроков. Вонючие школьные котлеты не утоляли голод, а лишь раздражали внутренности, будто чья-то невидимая рука пропускала школьные завтраки через мясорубку, заготавливая пахучую массу для выброса в унитаз… Такова была реальность, загромождённая, кроме того, рядами исцарапанных парт и нескончаемым потоком домашних заданий. Двойки и тройки присасывались ко мне, как пиявки, и дорога из школы превращалась в длинную и красочную поэму моих мечтаний, полную всевозможных сцен моей кончины (автокатастрофа, стычка с ордой хулиганов, нападение обезумевшей собаки и т.д.). Любая смерть представлялась желаннее встречи с матерью, чей гнев и презрение из-за моих двоек делали мою жизнь пыткой.

Такова повседневность, а голые дяди и тёти… Что ж, возможно, кто-то в мире и занимался *этим*, но никак не рядом со мной. Мама

и папа здорово умели ругаться, грызлись почище дворовых собак — это да! — а вот голыми обниматься… Такого они не умели. Я был уверен.

— А как ты думаешь, — пускал слюни щербатый мой наставник, — ты на свет появился каким образом? Этим, дурак, все занимаются! — его глаза от возбуждения вываливались из положенных мест, тощие руки елозили в рваных карманах обтрёпанных и мешком висящих штанов.

— Нет, Печкарик, я родился на свет не от этого, — ничто не могло поколебать мою уверенность.

— От чего же?

— От любви…

Так мне объяснила однажды мама, улыбаясь мягкими губами, и возле её глаз, широко обведённых чёрным карандашом, немного морщилась кожа, так мило и ласково морщилась, что хотелось обязательно погладить мамины морщинки. Когда мама не превращалась в клыкастое чудовище, она была лучшим из существ во всем мире, уютным, греющим, охраняющим. Разве такая женщина могла сделать то, о чём брызгал слюной Печко-Печкарик? Не могла. И Суок не могла тоже. Но друзья настаивали и заставляли меня терзаться: неужто я обманут? Многое оставалось неясным, что пробуждало желание поскорее самому повзрослеть и всё разузнать, прикоснуться (наконец-то!) собственной рукой к недозволенному и не отпускать (почему-то казалось, что отпускать не захочется). Глупость? Наивность? Первая клякса в прозрачном, насквозь видимом водоёме невинности? Генетические пороки? Не знаю. Не хочу задумываться. Это взгляд из сегодняшнего дня, а я хочу сейчас смотреть теми глазами, мальчишескими…

4

Подобно лёгкому покрову полупрозрачного тюля опускается невесомое тело памяти на распластанное позади меня пространство прожитых лет.

Чаще других образов перед глазами вырисовывается облик женщины, и кажется мне, что собрано в ней всё, что есть в жизни.

Она мягка и тепла, она окутывает убаюкивающим дыханием, надёжно скрывающим от неведомых, но пугающих невзгод. Она ласкова, но краешки её притягательных пухлых губ, покрытых лаковым красным цветом, подрагивают, когда пробегает по ним тень электрического разряда. Она величественна, эта женщина, подобно грандиозному изваянию, вышедшему из-под рук гения, на неё смотришь подолгу, позабыв о тикающих стрелках часов, и тем больше ненасытности испытываешь, чем дольше вглядываешься. Движения её полны тяжести пульсирующего в ней потока крови, который насыщает женское тело жаром и превращает её мышцы в ленивую, измученную истомой плоть, вытянутую обнажёнными гладкими линиями для раздражения желания.

Нет, не стоит упрекать меня в нечистоте. Я склонял перед женским миром мою воспалённую голову, ощущая превосходство (первородство) этих существ надо мной. Но проникнуть в их тайну — а попасть мне туда было необходимо, жизненно важно — я мог только через глубины женской физической природы. Тайна лежала близко, но она скрывалась от меня, маскировалась, хитроумно меняла обличье. А я тянулся в это манящее нечто, чтобы через прикосновение к бархатным порам нежных живородящих тканей вступить в неделимый союз с природой.

В более старшем возрасте как-то получил я толстый журнал с тончайшими глянцевыми страничками, залитыми яркими фотографиями голых манекенщиц. На нескольких снимках, выполненных под водой фотографом-аквалангистом фигурировала сказочная длинноволосая брюнетка, явно из рода русалок (полупрозрачная, как бы не из плоти, а из сгустков воды сделанная). Она летала. Парящая девочка в мягких голубых тонах водной массы. Её раздетое тельце так не соответствовало облику всех других моделей — сидящих, стоящих, лежащих — и выглядело так невесомо, что обнажённость делалась особенно подчёркнутой. Её фигура висела. Волосы на голове густо расплывались тёмной мутной охапкой морских водорослей. Груди не по-земному округлились. Нежно прорисовывались мышцы живота и сходились клинышком возле ног, где размытым тёмным пушком запечатлелись мягкие волосы (вата в воде), под которыми, казалось, не было ничего, кроме гладкой, как на животе, кожи…

Разумеется, она не была куклой, она (бесспорно!) принадлежала к роду женщин, живых и желанных, и её взмывшее в поднебесье океана тело во всей своей невинной и беззащитной наготе выставлялось на обозрение всему человечеству. Но она не пробуждала во мне влечения… Был восторг и удивление, был удушающий ураган, готовый изничтожить меня за неумение моё проявлять рождающиеся чувства… Та русалка была одновременно всеми женщинами мира: все они могли летать, и волосы каждой из них были клубами мутных водорослей.

Ещё раз говорю: я не стремился ощутить телом девичью плоть, и когда время уложило меня на скрипучий диван с моей первой любовницей, я окончательно убедился, что сказкам запрещено спускаться в наш неповоротливый мир, пахнущий потными подмышками. А женщина — часть сказки.

Я не полюбил её плоть. Разочарование вытолкало плоть за пределы грёз. Но тело — стройное, светящееся изнутри обаянием, как воск под пламенем горящей свечи, дивное и гладкое тело — осталось со мной, вокруг меня. Тело не было плотью. Оно жило в изгибах акварельных линий, нежилось шёлковой кошачьей спинкой, вздыхало эластичностью девичьих округлостей… Тело принадлежало живописи и светотеням фотографических карточек. Оно не ело, не пило, не мучилось режущими болями в животе, не торопилось по нужде, но при этом оно откусывало хрустящие кусочки от краснобоких яблок, и по губам бежали две-три капли сока; оно держало длинными пальцами хрустальные сосуды с тонкими шейками, где на донышке подрагивали остатки красного терпкого вина; оно, тело, носило многослойные одежды, но снимало их еженощно, сбрасывая комьями на пол, вешая шёлковыми струями на спинки стульев, на плечики бельевых крючков и в шкаф, этот громадный стоячий сундук, где хранятся фиговые листья всех мастей: золотистого полива, матово-чёрной торжественной глади, белоснежной лепестковой складки… Ткани сбрасывались и открывали оживший мрамор с подрагивающей прожилкой под кожей (лошадь), с вырвавшимся из глубины вздохом (колыхнувшаяся на ветру листва могучего дерева), с жеманно потянувшейся спиной (кошечка), с распахнувшимися от волнующих мыслей глазами (водоём, кристальный, глубокий, чарующий живой

магией дремлющей стихии).

Тело было одно, плоти — много. Однако все любовницы находились ещё где-то далеко впереди. До них, до их упруго торчащих сосков, до оскаленных белых зубов, предстояло (что за глупость!) долго и торопливо идти (почти бегать от нетерпения поскорее вступить в орден взрослых).

Сердце не раз легко и быстро отдавалось в сладостный плен то одних, то других девчачьих глаз. Внешний вид тех девочек, как теперь ясно видится под пристальным взглядом увеличительного стекла, не имел ничего общего с женщиной, паривше в подводной глубине, но что-то всё же жило в них от будущих прозрачных фей в невесомых кружавчатых комбинашках. Влюблённость забрасывала меня на стремительно вращающуюся карусель, размазывала реальность жирными полосами в головокружительных чувствах, лишало очертаний весь мир, кроме нужных, единственно нужных в те дни стыдливо вспыхнувших щёк, алеющих облизанных губ и сверкающих глаз.

Пятна вечерних фонарей на дороге, тёмные туши шевелящихся на ветру кипарисов, трепетное касание влажных ладошек…

То происходило в стране вечной любви, где нет границ между людьми, где был лишь я и многочисленное, как цветы на бескрайнем поле, женское начало, от которого веяло сказкой. Это был единственный хрупкий мостик, соединявший болотную жирность моей жизни с миром грёз, где раскинулось широкое приволье, насквозь продуваемое свежим ветром. Из мира этого я скакал верхом на белогривой лошади, играющей пружинистыми мышцами ног, в компанию воркующих девочек, где ожидала меня, гордо оглядывая подружек, моя избранница. В таких мечтах непременно толпились товарищи по классу, завистливо покусывая губы и заусенцы на пальцах. Временами я мчался из моего мира не на свидание, а сразиться с каким-либо соперником, наказать его за наглость или что-то ещё, и разделывался с ним в доли секунды, нещадно паля из грохочущего револьвера.

О, когда успели порасти бурьяном тропы, ведущие в мой чудесный край? Когда я успел позабыть мной самим проложенную туда дорогу? Без присмотра осталась моя красавица-лошадь с влажными ноздрями. Подруги мои повзрослели и ушли

из таинственной страны в поисках настоящих женихов, достойных, полновесных, нежных, чтобы состариться вместе с ними и доковылять на дряблых ногах до заслуженного последнего своего ложа.

Как я упустил тебя, прелесть сказочного обмана?

Не уследил, как ты расправила широкопёрые крылья для полета и уже даже взмахнула ими. Мне достались лишь одни взвихрённые листья, согнанные ветром твоих могучих крыльев.

5

В который раз уже швыряют меня в дорожный чемодан, ухватив за шкирку: бесправный перебрасывается так из угла в угол, беспомощно тараща глаза на руку хозяина-великана.

Опять солнце жжёт глаза, жёлтыми наконечниками острых лучей в зрачки стреляет. Шипит от жары земля, а после дождя долго дымит.

Глобус повернулся под ногами, подтянул ковром незнакомые улицы с крикливыми толпами чернокожих человечков. Вновь чужие лица (сколько их ещё на моей планете?) вокруг меня сыплют непонятными словами, белыми зубами улыбаются.

Сменилось место, стены дома, двор с деревьями, но вместе с нами, как впившийся в мякоть тела клещ, приехала душная напряжённость семейных отношений. Домашняя война не отстала, не затерялась в исчезнувшей за горизонтом Москве. Небосклон покрылся чёрным маслом. Густо капало. Куда ни встань, затопило дом тиной.

Семья — ложь. Ветхая тряпка, намотанная на побитые до синяков худые бёдра скитальцев.

Страшно стало ежедневно возвращаться из школы по залитым ослепительным солнцем дорожкам в мрачный дом, сделавшийся камерой пыток и кошмаров, где терзают душу никелированными щипцами ненависти, по кусочкам выдёргивают с кровью ниточки нервов, в мокрые, ещё не зажившие раны вновь и вновь вгоняют холодную зеркальную сталь. И ведь не специально! Нет, не со злым умыслом, но как бы ненароком, случайно, размахивая руками в ожесточённой схватке — отец и мать, самец и самка,

тяжеловесные туши двух буйволов, визгливые и юркие тени двух пантер, две оскаленные пасти, обрызганные кровью морды, два бьющихся насмерть рыцаря, которым нет дела до стоящих рядом людей, потому что сейчас для них существует только враг. Они могут затоптать окружающих, разломать их, изрубить своими свистящими мечами…

Впрочем, то не родители мои. Я твёрдо знаю, что я рождён любовью, по любви и от любви. Так говорила мать, так утверждал папа, прижимая меня к себе большой тёплой ладонью. Эти же драконы в изодранной до крови чешуе не верят в любовь, в них клокочет коричневая чума: ненависть, ревность, ярость.

Случалось, что душные тучи рассеивались, изрубленные враги поднимались на шаткие ноги и вспоминали обо мне. Они тянули ко мне руки, отводя друг от друга глаза, они взывали ко мне, к моей милости и жалости, они призывали на свою сторону. А я закапывался в постельное бельё, пугаясь их обезумевших лиц.

Однажды я вышел среди ночи в соседнюю комнату, где гудело пламя очередного скандала. Папа сидел не диване в одной майке, другой одежды не было на нём. Его ноги согнулись в коленях, и между ними, охваченное пятном жёлтого света светильника на резной деревянной подставке, виднелось то, что столь явно отличает мужчину от женщины. Мать казалась настоящей безумицей: глаза сузились в чёрные полоски накрашенных ресниц, вздёрнулась хищно верхняя губа с налипшей на ней слюной. Папа был спокоен, похоже — утомлён, измотан. Вокруг глаз темнели круги. Но почему раздет? Она — при полном параде, золото на пальцах мерцает, такие же жёлтые капли вокруг шеи набрызганы, а с мочек ушей льются прозрачные струи сцепленных цепочкой камней. А отец наг. И нагота его неприятна — мужской отросток в складках кожи и чёрном обрамлении волос в глаза бросается — и отталкивает гадливостью. В те минуты я мысленно пообещал себе никогда не представать голым перед одетой женщиной, потому что это мерзко и унизительно… Правда, много лет позже я блевал на расстеленный в моей собственной квартире пушистый ковёр, ползал на карачках с голой задницей (но в белой рубашке при этом), и так же отвратительно свисала гадливая мужская плоть. Я передвигался в таком виде перед измученной

моим пьянством женой и угрожал ей расправой за её неверность.

Куда подевалось моё детство с его нерастревоженными озёрами глаз?

Откуда подкралось ко мне ничтожество, паутиной опутав меня?

Я не любил, презирал, ненавидел до тошноты себя за то, что я принадлежал к мужской расе. Я был лишён от рождения природой того очарования, которым славен женский род. Я жаждал их красоты, упивался прелестью их форм и презирал себя за те чисто мужские украшения, которыми я наделён. Когда моё возмужание уже требовало прикосновения девичьих пальцев, но я не осмеливался ещё (по скромности ли?) сблизиться с женским телом, мои собственные руки облегчали внезапно приходившее напряжение ненавистного мне органа. Я бесился от презрения к себе, видя вздувшийся хобот и слыша мокрое хлюпанье кожи на нём.

Мерзость. Бесконечная мерзость во мне, которой нет и не может быть в женской природе. Русалкам не свойственна грязь, они всегда омываемы.

Как мне не хватало живого присутствия Суок! Зачем ты ушла, прекрасная девочка? Ведь нет в тебе тех ядов, что поднимают голову моего монстра. Ты могла бы увезти меня в своей цирковой кибитке, но не увезла. Почему? Тебе нечего было бояться. Никогда бы не посягнул я на твою сказочную чистоту. Ты ведь даже если и женщина, так ведь ты — не касающаяся земли русалка, у которой есть лишь формы женщины, но не плоть. У вымысла нет плоти.

А подле меня толпились взрослые люди, пожирающие друг друга, спустив трусы. Уже тогда я спросил себя: раз это настолько скверно, для чего же этим занимаются те, которые любят друг друга? Если настолько бесстыдно голое тело, для чего же человек рождён нагим? И что именно так неприлично в теле — живот, грудь, ягодицы, плечи или шея? Повсюду человека покрывает кожа, но в отдельных местах она внезапно становится запретной для посторонних глаз. Кто же клеймит бесстыдством такие места? И уж раз не положено соприкасаться телами мужчинам и женщинам, то пускай не будет это положено вовсе, но ведь разрешается на людях целовать дамам руку и щёку. Почему? Почему это соприкосновение

одной кожи с другой считается невинным, а другое, приносящее не только пьянящую дрожь в теле, но и очередную жизнь, названо грехом? До какой точки мыслится приличным открывать женскую грудь: до середины груди? До взбудораженного соска, дающего молоко? До какой невидимой границы?

Я не знал этого в детстве, не знаю и сейчас, когда еле удерживаю авторучку стариковскими слабыми пальцами.

Моя мать знала хорошо. Она пригвоздила к позорному столбу не один десяток женщин, усмотрев в них природу похоти, которая не соответствовала её понятиям добропорядочности. Она вывернулась наизнанку, чтобы обвинить отца в прелюбодеянии. Она искусала его, истерзала калёным железом ревности. Однажды он вдруг устало улыбнулся, махнул рукой (невесомое перо, выпавшее из крыла подстреленной птицы) и вышел из дома странной походкой.

Бельё, висевшее на просушке, ворохом ссыпалось на пол, влетев в коридор квартиры из ночной тьмы. Я увидел мелькнувшие белые изгибы бельевой верёвки, свисающие из его рук, но я не понял, что происходило. Он удалялся, то обнаруживаясь в фонарных лучах, то пропадая в глубоких тенях. Оглушительно звенели сверчки, и откуда-то неслось треньканье гитары. А потом я увидел вблизи его ноги. Только ноги, на одной из которых ботинок почему-то соскочил с пятки и держался на окоченевших уже пальцах. Над ногами клубился густой мрак, и смутно угадывалась крыша огромной беседки, где в обыкновенные дни играли в домино и шахматы. Теперь тут неподвижно висели ноги растаявшего в темноте человека, а под ним опрокинулся стул с рассохшейся фанерной спинкой, ещё валялась перегоревшая лампочка, кем-то вывинченная и бережно положенная на пол. Шаркали подошвами набежавшие люди, кто-то непрерывно икал и сломанным голосом извинялся за что-то. Издали доносилось женское рыдание пронзительное и нудное, мешающее, как вздувшийся на пятке пузырь от тесной обуви.

Затем будто кто-то пролил из громадной чаши жидкую вату на весь мир. Она законопатила наглухо мои уши, лишив людей голосов. И я понял тогда, что мне не нужны слова людей. Я мог обходиться без них. Мне оказались ненужными и сами люди. Для

чего мне молчаливые истуканы?

Я хотел в те дни только крыльев, под которыми укрыться и согреться: птенец прячется под материнскими перьями. И я метнулся к матери, не умевшей защищать, не знавшей силы любви. Она, родившая меня, вытолкнувшая на свет из тела своего, не умела успокаивать. Она гладила меня по голове и всхлипывала. Я разглядывал морщины её рук, жалел её, но отказывался признать в ней мать, она ведь лишила меня моего отца, единственного во всём мире.

И я сбежал, когда мы возвратились в Москву.

Удрал, чтобы найти приют в неумелых объятиях худенькой девочки в одной из многокомнатных московских квартир. Тепло её щеки, прижавшейся к моей холодной шее, несло в себе материнства куда больше, чем любое прикосновение моей настоящей родительницы. Она вливалась в меня, эта девчурка, черпала из меня горе, облегчала душу мою. Она успокаивала меня, желая дать успокоение, а не отвлечь. Она не произносила ничего, если не знала, какие слова нужны. Она была настоящим человеком, она ещё ничего не успела растерять. И она не спешила превратиться в женщину.

Я ощущал её кожу. Внутри меня всё трепетало от нараставшего нетерпения. Руки жадно шарили по её коленям, пытаясь прокрасться под её легкую юбчонку. Временами я слышал, как её сотрясала дрожь, но в ответ на мою горячую настойчивость я всякий раз слышал её тихий голос:

— Нет, нельзя, рано.

Я отступал, раздосадованный, отчего внутренности мои превращались в жаркий пепел.

Затем судьба украла у меня мою юную маму и отхлестала по лицу грязной тряпкой, снятой с длинной швабры. Не знающие пощады кулаки интернатских ребят прошлись по мне, следуя установленным там порядкам, и восстановили рассеявшуюся было память о жестокости мира.

Впереди лежала дорога, по которой день ото дня брели толпы людей, толкаясь локтями, переругиваясь, добиваясь счастья, пошучивая и улыбаясь. То была пыльная исхоженная тропа, знакомая всем стадам, и погонщики палками повелевали мне

выйти на неё, вычеркнув из головы всякие мысли о добрых сказках.

6

Вряд ли я теперь сумею вспомнить, что за каприз заставил меня не возвратить однажды высокой полногрудой девочке из старшего класса несколько номеров принадлежащих ей журналов «Поп-Фото». Портреты знаменитых длинноволосых музыкантов с дебильными улыбками на физиономиях и с электрогитарами в волосатых руках были испещрены складками и трещинами, побывав не у одного десятка поклонников. Зачем я оставил себе те журналы? Впрочем, не один я положил глаз на них. Пяток коренастых парней, обиженных, раздражённых, посчитавших, что я обошёл их на повороте и не дал заполучить любимых поп-идолов, встретили меня весенним утром возле дверей школы и под руки отволокли на задний двор.

Первый удар пришелся в ухо, и деревья надо мной пошатнулись, зацепив ещё не озеленившимися ветвями нежную голубизну небосвода. Сырая земля с тёмными сгустками грязи метнулась мне в глаза. Тычки остроносых башмаков пропечатали спину вдоль и поперёк, покуда я прятал голову под окровавленными руками и поджатыми коленями прикрывал живот. Светящиеся кольца вспыхнули в мозгу и вздулись, пульсируя, до размеров черепа, после чего красная спираль опоясала изнутри всё тело, упёрлась тугой пружиной в мою оболочку и едва не разорвала меня.

И опять окружил меня стыд и сквозь поры стал просачиваться в глаза и затылок.

Меня могли видеть со стороны, жалкого, превращённого в скомканный ворох тряпья, из которого текли кровавые сопли. Меня могли видеть со стороны в этом отвратительном виде, пока я шарил ладонями по мокрой земле, ослепший от грязи и синяков. Меня страшило, что я мог вызвать жалость, а она жжёт, подобно насыпанным на тебя дымящимся углям.

Но родная Москва и милая сердцу школа остались равнодушны, они не привыкли замечать упавших. Это избавило от насмешек. Это не опозорило, не унизило моего мужского достоинства в глазах девочек, с которыми предстояло ехать на экскурсию в далёкий

Таллин, шептаться с ними в трясущемся ночном поезде, перемигиваться днём в автобусе…

Поездка разочаровала. Я ожидал встретить отряды мушкетеров и рыцарей в лёгких доспехах, рассчитывал полюбоваться плещущими по ветру стягами с золотыми львами и драконами на гербах, однако повсюду глаза натыкались на магазинные витрины и вывески кабачков. Ребята втихаря глотали пиво и тискали девчонок.

Моим пальцам тоже удалось пробраться в чьи-то трусики…

По стенам чёрного купе метались белые кляксы пробегавших мимо фонарей. Резинка женских трусиков мягко давила на тыльную сторону руки. Невидимая мякоть под пальцами жадно заглатывала, как будто это был горячий рот без языка. Раза два ноги девочки дёргались и крепкими мышцами сдавливали мою ладонь, утопшую во влажной глубине.

— Не бойся, — шёпот её пересохших губ в моё ухо.

— Я и не боюсь, — я не узнал мой охрипший от волнения голос.

В ту секунду с грохотом открылась дверь, и всех нас, тесно усевшихся на полках, облил свет. Воспитательница разинула громадный рот и зашипела на нашу взлохмаченную гвардию:

— А как вот загривки вам надеру! Молокососы! Ну-ка живо разойдитесь по своим купе!

И посыпались мальчики от разгорячённых девочек прочь. А за окнами летели фонари и дома, где в уюте жёлтых ламп жили люди. Летели минуты, летели дни и годы. Неумолимо накатывала взрослость, и ускользнуть я от неё не мог. Вероятно, я и не хотел в то время. Думалось, что уходящее детство унесёт с собой зависимость от старших, от их понуканий и запретов. Но старшие никуда не делись, они лишь странно видоизменились. Казалось, я повзрослею и найду самого себя, но получилось, что меня не было вовсе, мне некем было становиться, разве что чьей-то игрушкой, тенью или, быть может, торгашом, занятым поиском выгодной сделки.

С возрастом тело начало источать неприятный запах пота. Чаще прежнего приходилось скоблить щетину на подбородке и щеках. В неотъемлемую деталь повседневности превратились хмельные напитки. Назойливее лезли в голову мысли о содержимом

кошелька. Развеялись тайны, о проникновении в которые мечтал детский ум, исчезли, словно стёрли их с поверхности замусоренного обеденного стола мокрой тряпкой, остались крохотные пупырышки маслянистых капель.

Быть может, жизнь всё-таки могла бы стать иной? Жаль, мне не доставало элементарной решительности, чтобы сделать какие-то важные шаги и превратиться в нормального человека. Я понимаю, оправдываться нет смысла, да никого и не интересуют оправдания. Жизнь уже позади. На сегодняшний день не осталось ничего — ни грязного белья, ни парадных костюмов. Признаться, былое тоже не вспоминается особенно красочным. Разумеется, происходили какие-то события, но они не имели ничего схожего со сказкой. Всё тянулось чересчур монотонно, банально, пахло пошлостью.

На утопленном в коричневых лужах плацу меня учили маршировать в колонне исхудавших солдат.

Можно бы не удерживать в памяти многодневные учения в дождливом лесу, стрельбу по мишеням, изгвазданные дерьмом нужники. Можно было бы вычеркнуть это, выдрать, как запачканную страницу черновика, если бы муштра эта не была прелюдией ко всему дальнейшему.

Казалось, что время страшных войн принадлежит далёкому прошлому, что не потребуется более никому обрывать свои жизни под пулемётным шквалом. Думалось, что армия предназначалась лишь для тренировки, гнусной, унизительной, но всё-таки тренировки человека на какой-нибудь маловероятный случай. Но за много километров от моей войсковой части долбили автоматы и винтовки, распарывая сухой воздух свистящим свинцом. Там шла настоящая война, там текла живая кровь, там корчились без всякого притворства молодые ребята. Я гнал прочь мысль, что меня, подобно многим белобрысым паренькам с глуповатыми улыбками на лицах, могут забросить в душный край чужих гор, где ни на шаг не будет отставать от меня смерть. Я прогонял эти думы, но они становились назойливее, пугали, впивались жалом, чтобы обязательно сбыться.

И вот снова под моими ногами хрустит жаркий песок. Почти в солнечное детство окунулся.

Порой кажется, что оглянусь и увижу густую свежую зелень, где

стоит в тени облитая лаком папина автомашина. Но по песку ступают не босоножки, а тяжёлая армейская обувь, под толстой кожей которой гудят потные ноги. Это не детство и не игра в казаки-разбойники. Здесь я могу рухнуть однажды и остаться среди колючих веточек, вцепившихся коготками в мою гимнастёрку. И не в моей воле не шагать по той земле. Давно уж не ребёнок, но опять чья-то могучая лапа выдернула меня из-под прохладных берёз и зашвырнула в чужую страну, не спрашивая моего согласия. Зубчатая кромка голубоватых гор на горизонте надёжно отрезала меня от родины, к которой никак не удаётся привыкнуть. Да и есть ли у меня родина? Что это такое?

Иногда мне кажется, что мы — беззаботные пацаны и играем в войну. Но это редко. Чаще мерещится, что я крепко и долго сплю, и сон мой тяжёл. Вот напрягусь, поднатужусь, закричу, и лопнет полотно надоевшего холмистого пейзажа, смоются ядовитые краски, пропадут пригнувшиеся бородатые фигурки в чалмах. Но не рвётся киноплёнка, не гаснет экран, не заполняются глаза спокойной комнатной тьмой, а продолжает из пыльных далей бить свинец, и прилипает к спине потная одежда.

Пашка, добряк-весельчак, всегда бривший наголо, чтобы голова на жаре не распаривалась, ткнулся лицом в пригорок, даже руками не придержался — мешок мешком. В сторону от него стеной пошла пыль, пробежали фонтанчики песка, камень ломкий разлетелся острыми брызгами под пулей. Пашка не поднимался, лежал. Выпуская щупальцы, расползлось торопливое красное пятно под его головой, слегка свёрнутой на бок. Слева на шее виднелась малюсенькая тёмная точка — след ужалившей пули, а под правым ухом, где свинцовая пчела вылетела наружу, оторвался кусок мяса и повис на мокром лоскуте кожи, как на клейкой бумаге. Подбородок обвалялся в песке, и пузырилась ещё не умершая слюна. Тоскливо гудело над оттопыренной Пашкиной губой блестящее зеленоватое насекомое, а пыльная жёлтая муть продолжала вздрагивать и отрыгивать выстрелами. Муть эта живет своей отдельной жизнью, как и ползающий под ветром песок. То и дело поднимаются фонтанчики, они почти не имеют ко мне отношения, даже не угрожают, а по прихоти своей извиваются, пританцовывают, разбегаясь рядами, обрываясь иногда возле чьей-

нибудь фигуры, которая дёрнется, укушенная, и взмокнет тёмно-кровавым пятном.

Чем пристальнее я всматривался в привычные, казавшиеся непоколебимыми, прочно скроенные формы внешнего мира, тем более понимал я собственное заблуждение: ничто не было надёжно, всё оказалось хрупким и крошилось от незначительного взмаха руки (полетела граната).

— Ах, ты… ё твоё…

Небесная лазурь вспоролась шипящими полосами дыма. Точно фейерверк на детском карнавале, где пшикают хлопушки и сыплются искры бенгальских огней под восторженный визг детворы.

Дёрнулся склон, поперхнулся снарядом, могучая грудь содрогнулась, в мгновение ока земля вздулась и отрыгнула чёрными комьями с примешанной огненной слюной. Вокруг забарабанило, жахнуло оглушительно и внезапно набросило тяжёлый, наглухо скрывший меня ковёр. Песчинки впились в щёку.

А разбудило робкое дзиньканье хрустальных бокалов, за которым потянулось нудное бубнение дикторского голоса (радио). Кто-то тяжело вздохнул. Прошла в мерцающем воздухе белохалатная тень.

Тоскливое пробуждение. Никто здесь не ждал. Я был одним из тысячи незнакомцев. Меня вертели, протирали, брали обмякшие части тела крепкими пальцами, подсовывали ледяное стекло «утки» под скомканный отросток, отдирали тампоны от кровавой накипи на коже. В нос лился ядовитый медицинский запах. Врачи трудились, исполняя свой долг, сопя и хмурясь. Иногда бесцветная медсестра подмигивала мне после процедур.

— Что грустишь, боец? Счастливо ты отделался, радуйся. Похромаешь несколько месяцев и придёшь в полную норму.

Я отмалчивался и следил глазами за гудевшими под потолком мухами.

7

Случалось всякое: днём, уставившись на омытое дождём окно, я часами валялся неподвижно, затем впадал в ярость, лупил кулаками

по пыльному дивану и угрожал кому-то невидимому, а ночью тихо плакал, уткнувшись в зыбкую грудь случайной знакомой, чем пугал её не меньше, чем приступами душераздирающих воплей.

День ото дня уныние меняло форму, перетекало в недоумение: люди настойчиво продолжали жить, когда внутри меня неподъёмным грузом лежала мёртвая пустота. В мире же ничто не изменилось, ничто не разбилось вдрызг. Муравейник кишел, толкался локтями. В этом огромном театре всё шло своим чередом, каждый играл свою роль.

За немудрёной игрой в крестики-нолики прошмыгнула учёба в институте, куда меня затащили ветераны-приятели. На групповом портрете знакомых появился десяток новых физиономий, одни рыхло потряхивали щеками, иные оптимистично скалили рты. Подсаживались разномастные женские особи и, в ожидании привычных развлечений, томно приспускали занавески пушистых ресниц.

Эти женщины разительно отличались от моих школьниц. Девочки из ясного детства так и не изменились, потому что остались там — в воркующем хороводе белых фартучков и бантов, они смущались и покрывались румянцем, шептались на ухо (по очень важному секрету), украдкой поглядывали на избранников сердца, которые не замечали их. Они жили во мне, а не среди живых людей. Среди людей они взрослели, вытягивались и укрупнялись чертами, делались из шаловливых *неженщин* обыкновенными самками. А внутри меня им не угрожали никакие метаморфозы, они были надёжно впаяны в пласт совершенно определённого времени, которое было помещено в вакуумную камеру, куда не допускались посторонние, могущие поломать и нагадить. Не осталось девочек кротких и испуганных, их заменили красивые женщины, в глазах которых постоянно тлел уголёк циничного, всепонимающего огня. Ни в одной из них, сколько ни всматривался, не удалось приметить ни тени детской простоты.

И всё же объекты моих целомудренных влюбленностей не умерли.

Я знал наверняка, что они продолжали жить вокруг меня и во мне, оставаясь невидимыми для суетного окружающего мира.

Если бы они пропали на самом деле, не стало бы и меня, перестало бы вздыхать васильковыми волнами поле (о чём ему так вздыхалось?)…

Ах, впустите меня обратно в цветную сказку! Мне не нравится серая холстина моих теперешних отношений. Сделайте меня вновь крохотным и наивным, не удерживайте меня жестокими законами!

Пусть не взрослеет мир…

Эти женщины разительно отличались от моих школьниц, я не могу не повториться. Одна из них, черноволосая чаровница, буравила меня сквозь полумрак комнаты хищными глазами. Такой взгляд не ищет смущённой улыбки облизанных от волнения губ. Такой взгляд ждёт кивка, знака… Она протянула изящную руку к своей подружке. Змеиная кожа облегающего рукава вспыхнула и померкла. Кончики пальцев с залитыми лаком ногтями вздрогнули. И подруга засмеялась, поняла. Ах, её голос! Шёлковые нити по ветру… Она была вся соткана из своего голоса. Только бы не утихал он, не растворялся бы в комнатных тенях, предназначенных не для голосов вовсе. Его бы руками взять, пригоршней ко рту поднести и вдохнуть, чтобы ощутить бархатное дыхание этой длинноногой самочки, почувствовать, как мерно вздымаются эластичные стенки её лёгких… Смех её не прерывался. Белки глаз уже совсем близко ко мне подплыли и тут пахнуло кисловатым запахом вина с примесью аромата губной помады. Дыхание её шарило по моему лицу, пульсировало нервно и горячо.

Из-за рассыпчатой копны волос выкатило молочное плечо первой женщины, по которому текли смоляные тяжёлые косы. Из-под махровых ресниц плескала тёмно-зелёная порочность. И я (в который раз подряд!) отдался во власть их требовательной всепожирающей похоти.

В одно мгновение они окончательно оголились, наползли телами с двух сторон, повизгивая, и превратились в груду округлостей, увенчанных крепкими сосцами. Под губами мягко осязались пупырышки кожи. Тяжёлая мгла, пропитанная пьяным дыханием, кишела руками и ногами, сильные мышцы нажимали отовсюду, обволакивающие рты перетекали по телу. Разгорячённые нимфы поочерёдно менялись местами, усаживались на жилистую игрушку, вскрикивали, тяжело валились на бок, откатывались

и руками и жаркими губами с жадностью выпускали из меня мужское масло. Временами они забывали обо мне и резвились между собой. Перед моим лицом в подушке утопали упругие шары ягодиц, которые очерчивались глубокой тенью в месте соприкосновения и образовывали чёрную вязь волос, уходивших в бездну (там жило и пульсировало другое пространство, где рука утопала безвозвратно). То и дело находившаяся сверху подружка окунала руку в эту заглатывающую темноту, пальцы исчезали в податливой бездне, тело нервно вздрагивало, будто желая оторваться рывком от мятой постели и взлететь.

Но нет, никто не летал. Не было девочек, плавно скользящих в прозрачных мерцаниях зелёно-голубого пространства. Женщины приходили обычным шагом, сбрасывали цокающие туфельки, стягивали тонкие трусики, слегка согнувшись в спине и поднимая, будто гарцуя, ноги. Перекатывались белеющие очертания ягодиц… Зачем приходили вы, женщины?

Первый поцелуй с очередной школьной любовью беспощадно бил по ногам, лишал сил, заполнял дрожью, и я едва не падал. Касания робких губ (со всеми хорошо ощутимыми на них трещинками и прикусами) помнилось неделями, и голова бежала кругом. Мы, ничего не знавшие о любви, кроме её очарования, пробирались ощупью по новизне ощущений, захлёбывались влюблённостью, трепетали: а вдруг другой из нас рассмеётся, оттолкнёт? Нежные притрагивания к бархатистой коже на щеке девочки в любое мгновение могли обернуться больно ранящим прикосновением острой бритвы (она ко мне равнодушна, она любит другого… или ещё чёрт знает какой поворот событий). Самый мучительный вопрос: любит ли?

— Да, — едва вздыхала она.

— Да, — шептала очередная девчушка на мой страстный вопрос и прятала глаза.

— Да, — волновалась третья.

Эти не волновались. Спектакль разыгрывался с холодной, расчётливой какой-то яростью. В поцелуях не было таинства. Ничто не было свято. Легко угадывались желания партнёра, послушно извивались тела… Сквозь дебри волнующей неизвестности продрался я (сам себя пришпоривая) на опушку так долго манившей

взрослости и не захотел идти дальше. Но было поздно. Дремучий сказочный лес за спиной сдвинул стволы и скрыл от взора ластящихся добрых волков и медведей, смеющихся длинноволосых русалок, витязей в сверкающих доспехах, чародеев под каждым кустиком. Наверное, я оказался недостоин моего мира (моего ли?), и он выпихнул меня, поражённого вирусом нечистоты, в толпу таких же больных.

Затем случайно пришла та, которую не захотелось тянуть за руку в постель, окунать в дурман бесчисленных стонов и ласк. Забегая вперёд, скажу, что ей предстояло сделаться моей женой. Она светилась рассыпчатым золотом вокруг лица, взирала на окружающих спокойно, почти равнодушно. Казалось, что стояла высоко над всеми (летала?).

Однажды жёлтым мазком жидкого солнца прядь её длинных волос, когда она склонила голову, кончиком мизинца потирая краешек прозрачного голубого глаза, потекла по плечу, и мне подумалось, что она явилась посланцем *оттуда*. Во мне зажглась надежда. Божество, которому я поклонялся и приносил в жертву, бросая в огонь, мои чувства, обратило на меня взор. Ливень светлых лучей насытил воздух свежестью, она пронизывала грудь, наполняла сердце простором.

Помнится, я не ждал ничего от неё: вовсе не из нашего мира она появилась, хоть и была очень земной, осязаемой (прогуливались с ней под руку вечерами). Мне нравилась её походка, чуть-чуть какая-то неверная, будто капелькой неизящности подкрашенная, как бы неумелая. Умиляла манера слегка наклонять голову во время беседы, при этом золотая копна вокруг головы пушисто шевелилась и медленно оползала в наклоненную сторону. Очарование наших встреч таилось в том, что она не казалась женщиной. Очень мила, но ничего женско-влекущего, дразнящего. Увы, именно это и сблизило нас, обманув, ведь в тот период любые отношения заводили в постель. Молодость требовала схватки, иначе самый смысл связи терялся. Мечтая о женщине без осязаемой женской плоти, я одновременно настоятельно требовал чувственного тела.

Она уступила, и моему изумлению не было конца, когда я обнаружил возле себя голенькое тоненькое существо с едва наметившимися грудками и ясно прорисованными рёбрышками

под прозрачной кожей. Она смешно горячилась, изображая страсть, но было очевидно, что её сексуальный опыт сводился к двум-трём случаям. Тело её пока что дремало.

Невзирая на взаимное разочарование, мы всё же повторили наше совокупление, но зачем? Ужели нам нравилось находиться вместе, но встречи казались не до конца полноценными без объятия? Что заставило меня порвать всякие отношения с пылкими подружками и заняться хрупкой девочкой, вид голых рук, да и всего тела которой всякий раз окатывал испугом: женщина ли она вообще?

Сейчас я царапаю по бумаге пером, которое то и дело нужно подпитывать чернилами, чтобы не прекращала сочиться тёмно-синяя слюна из раздвоенного носика авторучки, оставляя свитые в слова загогульки. Трудолюбивое, размеренное поскрипывание перьевого кончика с налипшими на нём пылинками напоминает мне неторопливое течение жизни. Идут дни, а я не понимаю, для чего они проходят. В кино и книгах нет места лишнему, всё подчинено логическому руслу повествования, крепко увязано, каждый шаг — во имя следующего шага к определенной цели. Для чего же я изливаю на бумагу моё нутро?

8

Моей женой восторгались поголовно все мои друзья, независимо от их пола. Комплименты звенели, как хрустальные бокалы с игристым вином… поклоны, театральные коленопреклонения, букеты цветов, флаконы с духами, серьги и прочие мелкие знаки внимания заполняли пространство вокруг неё. Она нравилась, умела влюблять в себя и забавлялась этим, а меня жгла ревность. Она раздаривала себя другим, не ощущая никакой потери, я же каждой клеткой чувствовал, что самая малая её улыбка, адресованная кому-нибудь, была обкрадыванием меня.

Через наставленные на столе стекла тёмных винных бутылок и синеватые блики хрустальных ваз я внимательно следил, прикрывая горящие глаза ладонью, за поворотом её красивой головы, за собранными в пучок волосами, за приглушенной улыбкой, полной притягательной силы. А они, эти дышавшие

табаком и водкой самцы, тянулись к ней, явно надеясь не на одну улыбку. Иногда их темноволосые руки в отвёрнутых по самый локоть, как у мясников, рукавах дотрагивались до шелковистых складок её платья.

Мужчины… Я их отлично чувствовал, здоровых, напористых, уверенных в своей мужской неотразимости… Вот у одного к мясистым губам липнет набухший сигаретный фильтр. А у другого ноздри чувственно раздулись, как жабры, втягивают запах её тела.

А она, повелевающая миром, временами капризная, остроумная, шаловливая, мне одному (что за жирная, заглатывающая жадность?) принадлежащая, смеётся в ответ на пошлости, словно не замечая их. Или не хочет портить отношений? Ведь они — мужья подруг. Не давать же им по щекам? Впрочем, могла бы и шлёпнуть разок, а то вон тот ногу на ногу барски закинул, пуговичку на воротнике рубашки расстегнул…

Куклы и комиксы давно сброшены со стола и разлетелись шелестящей стаей отвергнутых бумажных листков, некогда служивших мне незастеклёнными окнами в заколдованные миры. Теперь вокруг — пепел повседневных сигарет на обрывках непристойных любовных записок и горсть противозачаточных таблеток. Я стою на голом столе, покинутый и никому ненужный, как путник посреди холодной пустыни, и вывинчиваю перегоревшую электрическую лампочку. Нежность и любовь, как пугливые молодые зверьки, давно разбежались. Отныне ничего впереди не лежит, кроме продуваемых тоскливым ветром десятков скучных лет. Однажды вступив босыми ногами на тропу бесстыдных взрослых людей, я проколол себе осколками цинизма ступню и тем самым обрёк себя на медленное и мучительное заболевание. Через открытую рану проникла зараза и вылилась моя душа. С тех пор я обречён на страдание.

Внезапно осознав, что я лишился всей былой светящейся мечтательности, я ужаснулся. Взглянув в зеркало, я себя не узнал. На меня смотрела утомлённая физиономия. В набрякшей коже лба и щёк, в зыбких мешках под глазами и в самих глазах, каких-то мутных и не стоящих на месте, проглядывалось нечто неуловимое, что окатило меня холодом. То была невидимая никем мёртвость.

Всё чаще меня бил озноб.

Я пытался хвататься за предметы, чтобы чувствовать жизнь, но не мог ничем заменить упущенного ветра моего детства, который грел меня раньше, охранял и относил на своих мягких руках в душистые шалаши грёз. Перламутровые статуэтки, разноликие фигурки божков из слоновой кости, толстые пахучие переплёты книг — они наваливались на меня каменными глыбами. Ключом хлестало раздражение и обливало всех без разбора. Капли жгучего яда попадали и на моё собственное сердце, лопались сосуды, брызгала кровь.

Разорившаяся душа давала себя знать. Я ощущал, что схожу с ума. Мной овладевали страх и стыд (давненько он не посещал меня), но сильнее всего терзало страдание, порождённое отчаянием. Мне было больно, и я заставлял себя причинять боль всем вокруг. Жизнь превратилась в один бесконечно длинный пасмурный день. Под закопчённым ватным небом висело мутное марево. Пьяный, я ползал на четвереньках и то и дело смачивал пересохшее горло глотком водки. Тесные коридоры изламывались на моём пути, а жена истерично плакала и хлестала меня мокрым полотенцем.

Я ревновал… Ревность, это неповоротливое, слизистое животное, лишённое глаз и бубнящее вслух одну и ту же мысль, заглотила меня полностью, и я болтался в мешке её чёрного желудка.

Сейчас я знаю, что не верить жене у меня не было тогда причин. Однако, превращаясь в свинью, я желал, чтобы все вокруг уподобились мне. Я наслаждался чужой болью. Жало моего пьяного языка впивалось в тростинку нежного существа, и она, моя жена, не могла укрыться от моего яда.

— Сука! Кошка дешёвая! — рот наполняется слюной, меня душила тошнота.

Конечно, это положение не могло длиться вечно, и однажды произошло то, что должно было произойти, на что я подталкивал жену непростительными выходками, на которые способен лишь пьяный дурак. Любовь умерла в конвульсиях, сдирая с себя кровоточащую кожу. И тут явился на сцене тот самый человек, который был способен приласкать выбившуюся из сил несчастную женщину. И лицо-то у него вполне обычное, и раньше хаживал

в гости, встречался в кругу общих знакомых, но теперь его глаза стали для неё полными понимания, а пальцы — ласковыми.

Да, это произошло.

Тот вялый от зноя день, когда мы выехали на дачу шумной компанией, запомнился глубокими тенями в прохладной комнате. Жёлто-зелёные квадраты окон, не до конца прикрытые шторами, впускали мягкие лучи света с переливами лиственных сгустков. Солнечные струи шарили бесформенными пятнами по дощатому полу и разобранной кровати, с которой разомлевшими складками струилась белоснежная простыня и свешивалась временами бессильная кисть женской руки, так хорошо знакомой мне. Остальные части тела таяли в сумраке. Не виден был и мужчина. Соприкосновение же их тел чувствовалось даже в воздухе. Не глазами прочитывалось, а дыханием, рвавшимся из соединённых уст. И в этом скрытом от глаз, но осязаемом соединении двух объятых горячей страстью тел, таилось то самое величие, которое не вмещалось в слова, к которому мучительно хочется притронуться, в которое тянет погрузиться с головой, но которое, как и многое другое, я безвозвратно утерял годы назад.

Я напряжённо отступил по коридору. В затылке красными вспышками отдавались удары обезумевшего сердца. Панический страх (страх ли?) вскипел внизу живота ледяной пеной и обрызгал горло.

Улица встретила меня удушьем полуденного солнца и ослепила после таинственного мрака любовной комнатки. Горячие лучи полоснули по коже. Оглушительный птичий шквал и шум листвы каскадом обрушились на меня, но слух мой всё ещё не расставался с услышанными вздохами. Запах окружающих цветов и травы пронизывал меня и кружил голову. Поодаль приятели дымили шашлыком и орошали воздух беззаботным смехом.

Минуту или две по закоулкам моего мозга метался сладковатый дурман. Ощущение очень близкое к детскому восторженному волнению от подглядывания в запретную скважину струной напряглось в сердце, звонко задрожало от промчавшегося в последний раз вихря чувств и застыло. Застыло навеки. Как окаменело.

В тот день я умер окончательно. Крылья величественной птицы

счастья, для чего-то взлетевшей из давно оставленной мной страны сказок, обдали меня на прощание знакомым воздухом, и я остался один. Один на долгие годы. Ничто не беспокоило меня более, ни люди, ни их страсти. Временами я пытался задавать себе вопрос, для чего нужна моя жизнь, но вопрос расплавлялся сам собой, как расплавляется молочной массой мороженое, забытое кем-то на скамейке под горячим синим летним небом. Нет вопроса, нет и ответа.

Непонятная сила принудила меня взяться за перо, но и на бумаге я не узрел логики поступков и событий.

Да и припомнились, сказать честно, жалкие обрывки. Не понял я, почему некогда густые цвета движений и форм вдруг стали терять свою былую сочность и сделались полинявшими тряпками, скучными на вид и пригодными разве для вытирания крошек с грязного обеденного стола. Десятки лет слились в белёсое пространство.

Я родился давно, но жизнь моя оказалась коротка…